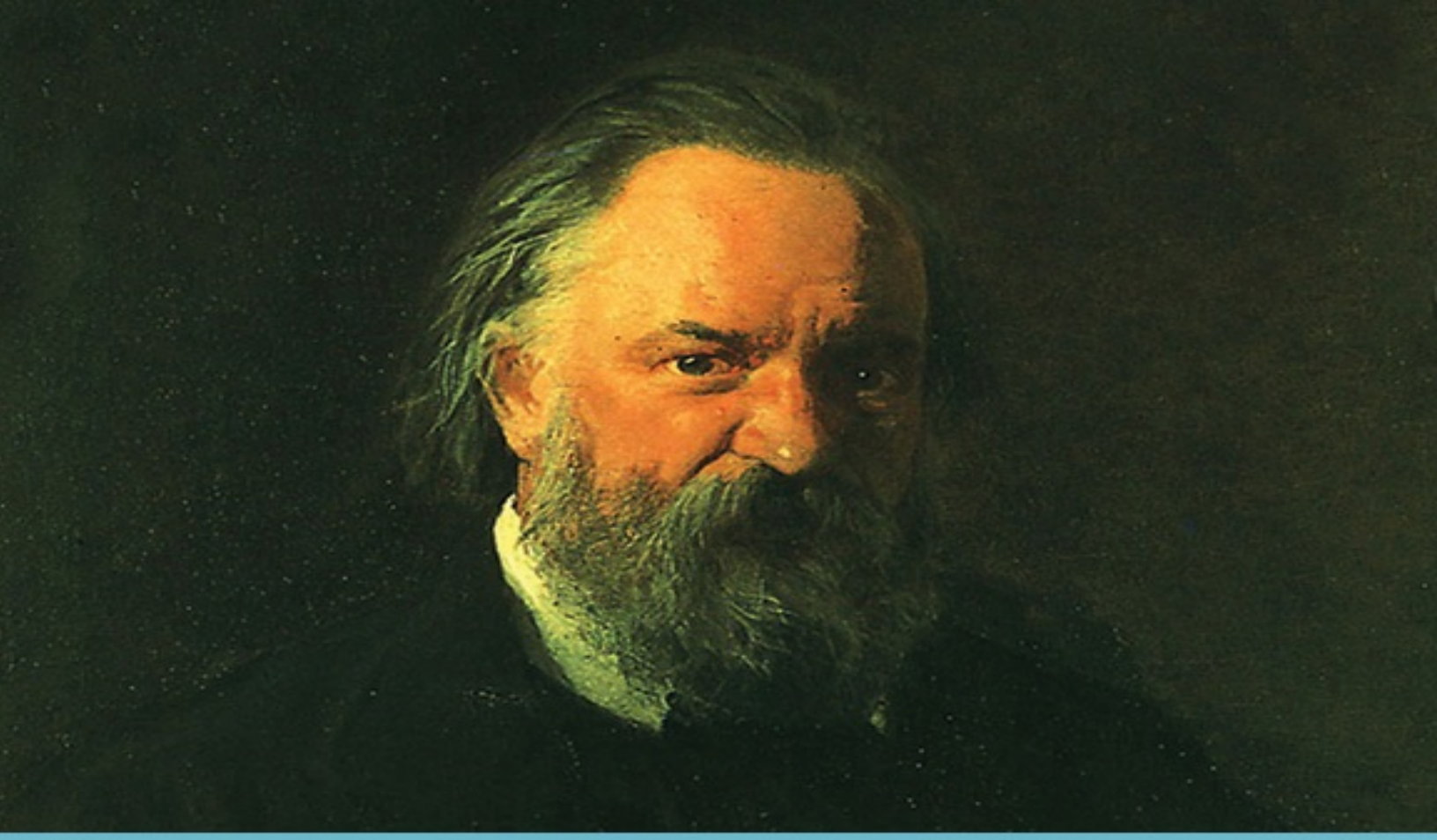

Герцен А.И.

Кто виноват?

КУЛЬТУРА.РФ

Герцен А.И.

Кто виноват? / Герцен А.И.—М.:ДА!Медиа, 2014.

«Кто виноват?» – роман в двух частях, написанный в 1841-1846 году русским публицистом, писателем и философом Александром Ивановичем Герценом (1812-1870). По определению БСЭ, это «один из первых русских социально-психологических романов». Впервые обе части романа вышли отдельным изданием как приложение к журналу «Современник» в 1847 году.

Для своего времени роман был новым и оригинальным не только по богатству идей и образов, но и по художественной манере. Особенность «герценского» стиля состоит, прежде всего, в сложном сплетении различных приемов художественного письма. «Кто виноват?» – собственно не роман, а ряд биографий, мастерски написанных и оригинально связанных в одно целое. В романе затронуто много острых социальных вопросов: проблема семьи и брака, положение женщин в обществе, проблема воспитания, жизнь русской интеллигенции и др. Герцен исследует поставленные проблемы в свете идей гуманизма и свободы. Пафос борьбы с крепостничеством как главным злом русской жизни того времени пронизывает произведение от начала до конца.

ISBN 978-5-4472-3620-5

© ООО «ДА!Медиа», по заказу Министерства культуры Российской Федерации, 2014

От автора

А случай сей за неоткрытием виновных предать воле божией, дело же, почислив решённым, сдать в архив.

Протокол

«Кто виноват?» была первая повесть, которую я напечатал. Я начал ее во время моей новгородской ссылки (в 1841) и окончил гораздо позже в Москве.

Правда, еще прежде я делал опыты писать что-то вроде повестей; но одна из них не *написана*, а другая — не *повесть*. В первое время моего переезда из Вятки в Владимир мне хотелось повестью смягчить укоряющее воспоминание, примириться с собою и забросать цветами один женский образ, чтоб на нем не было видно слез.

Разумеется, что я не сладил с своей задачей, и в моей неоконченной повести было бездна натянутого и, может, две-три порядочные страницы. Один из друзей моих впоследствии стращал меня, говоря: «Если ты не напишешь новой статьи, — я напечатаю твою повесть, она у меня!» По счастью, он не исполнил своей угрозы.

В конце 1840 были напечатаны в «Отечественных записках» отрывки из «Записок одного молодого человека», — «Город Малинов и малиновцы» нравились многим; что касается до остального, в них заметно сильное влияние гейневских «Reisebilder».

Зато «Малинов» чуть не навлек мне бед.

Один вятский советник хотел жаловаться министру внутренних дел и просить начальственной защиты, говоря, что лица чиновников в г. Малинове до того похожи на почтенных сослуживцев его, что от этого может пострадать уважение к ним от подчиненных. Один из моих вятских знакомых спрашивдл, какие у него докаэательства на то, что малиновцы — *пашквиль* на вятичей. Советник отвечал ему: «Тысячи! например, *авктор* прямо говорит, что у жены директора гимназии бальное платье брусничного цвета, — ну разве не так?» Это дошло до директорши, — та взбесилась, да не на меня, а на советника. «Что он, слеп или из ума шутит? — говорила она. — Где он видел у меня платье брусничного цвета? У меня, действительно, было темное платье, но цвету *пансэ*». Этот оттенок в колорите сделал мне истинную услугу. Раздосадованный советник бросил дело, — а будь у директорши в самом деле платье брусничного цвета да напиши советник, так в те прекрасные времена брусничный цвет наделал бы мне, наверное, больше вреда, чем брусничный сок Лариных мог повредить Онегину.

Успех «Малинова» заставил меня приняться за «Кто виноват?».

Первую часть повести я привез из Новгорода в Москву. Она не понравилась московским друзьям, и я бросил ее. Несколько лет спустя мнение об ней изменилось, но я и не думал ни печатать, ни продолжать ее. Белинский взял у меня как-то потом рукопись, — и с своей способностью увлекаться он, совсем напротив, переценил повесть в сто раз больше ее достоинства и писал ко мне: «Если бы я не ценил в тебе человека, так же много или еще и больше, нежели писателя, я, как Потемкин Фонвизину после представления «Бригадира», сказал бы тебе: «Умри, Герцен!» Но Потемкин ошибся, Фонвизин не умер и потому написал *«Недоросля»*. Я не хочу ошибаться и верю, что после «Кто виноват?» ты напишешь такую вещь, которая заставит всех скавать: «Он прав, давно бы ему приняться за повесть!» Вот тебе и комплимент, и посильный каламбур».

Ценсура сделала разные урезывания и вырезывания; жаль, что у меня нет ее обрезков.

Несколько выражений я вспомнил (они напечатаны курсивом) и даже целую страницу (и то, когда лист был отпечатан, и прибавил его к стр. 38). Это место мне особенно памятно потому, что Белинский выходил из себя за то, что его не пропустили.

8 июня 1859 г. Park-House, Fulham.

I. ОТСТАВНОЙ ГЕНЕРАЛ И УЧИТЕЛЬ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙСЯ К МЕСТУ

Дело шло к вечеру. Алексей Абрамович стоял на балконе; он еще не мог прийти в себя после двухчасового послеобеденного сна; глаза его лениво раскрывались, я он время от времени зевал. Вошел слуга с каким-то докладом; но Алексей Абрамович не считал нужным его заметить, а слуга не смел потревожить барина. Так прошло минуты две-три, по окончании которых Алексей Абрамович спросил:

— Что ты?

— Покаместь ваше превосходительство изволили почивать, учителя привезли из Москвы, которого доктор нанял.

— А? (что, собственно, тут следует: вопросительный знак (?) или восклицательный (!) — обстоятельства не решили).

— Я его провел в комнатку, где жил немец, что изволили отпустить.

— А!

— Он просил сказать, когда изволите проснуться.

— Позови его.

И лицо Алексея Абрамовича сделалось доблестнее а величественнее. Через несколько минут явился казачок и доложил:

— Учитель вошел-с.

Алексей Абрамович помолчал, потом, грозно взглянув на казачка, заметил:

— Что у тебя, у дурака, мука во рту, что ли? мямлит, ничего не поймешь; впрочем — прибавил, не дожидаясь повторения: — позови учителя, — и тотчас сел.

Молодой человек лет двадцати трех-четырех, жиденький, бледный, с белокурыми волосами и в довольно узком черном фраке, робко и смешавшись, явился на сцену.

— Здравствуйте, почтеннейший! — сказал генерал, благосклонно улыбаясь и не вставая с места. — Мой доктор очень хорошо отзывался об вас; я надеюсь, мы будем друг другом довольны. Эй, Васька! — (при этом он свистнул) — что ж ты стула не подаешь? Думаешь, учитель, так и не надо. У-у! когда вас оболванишь и сделаешь похожими на людей! Прощу покорно. У меня, почтеннейший, сын-с; мальчик добрый, со способностями, хочу его в военную школу приготовить. По-французски он у меня говорит, по-немецки не то чтоб говорил, а понимает. Немчура попался пьяный, не занимался им, да и, признаться, я больше его употреблял по хозяйству, — вот он жил в той комнате, что вам отвели; я прогнал его. Скажу вам откровенно, мне не нужно, чтоб из моего сына вышел магистр или философ; однако, почтеннейший, я хоть и слава богу, но две тысячи пятьсот рублей платить даром не стану. В наше время, сами знаете, и для военной службы требуют все эти грамматики, арифметики… Эй, Васька, позови Михайла Алексеича!

Молодой человек все это время молчал, краснел, перебирал носовой платок и собирался что-то сказать; у него шумело в ушах от прилива крови; он даже не вовсе отчетливо понимал слова генерала, но чувствовал, что вся его речь вместе делает ощущение, похожее на то, когда рукою ведешь по моржовой коже против шерсти. По окончании воззвания он сказал:

— Принимая на себя обязанность быть учителем вашего сына, я поступлю, как совесть и честь… разумеется, насколько силы мои… впрочем, я употреблю все старания, чтоб оправдать доверие ваше… вашего превосходительства…

Алексей Абрамович перебил его:

— Мое превосходительство, любезнейший, лишнего не потребует. Главное — уменье заохотить ученика, этак, шутя, понимаете? Ведь вы кончили ученье?

— Как же, я кандидат.

— Это какой-то новый чин?

— Ученая степень.

— А позвольте, здравствуют ваши родители?

— Живы-с.

— Духовного звания?

— Отец мой уездный лекарь.

— А вы по медицинской части шли?

— По физико-математическому отделению.

— По-латынски знаете?

— Знаю-с.

— Это совершенно ненужный язык; для докторов, конечно, нельзя же при больном говорить, что завтра ноги протянет; а нам зачем? помилуйте!

Не знаем, долго ли бы продолжалась ученая беседа, если б ее не прервал Михайло Алексеевич, то есть Миша, тринадцатилетний мальчик, здоровый, краснощекий, упитанный и загоревший; он был в куртке, из которой умел в несколько месяцев вырасти, и имел вид, общий всем дюжинным детям богатых помещиков, живущих в деревне.

— Вот твой новый учитель, — сказал отец.

Миша шаркнул ногой.

— Слушайся его, учись хорошенько; я не жалею денег — твое дело уметь пользоваться.

Учитель встал, учтиво поклонился Мише, взял его за руку и с кротким, добрым видом сказал ему, что он сделает все, что может, чтоб облегчить занятия и заохотить ученика.

— Он уже кой-чему учился, — заметил Алексей Абрамович, — у мадамы, живущей у нас; да поп учил его — он из семинаристов, наш сельский поп. Да вот, милый мой, пожалуйста, поэкзаменуйте его.

Учитель сконфузился, долго думал, что бы спросить, и наконец сказал:

— Скажите мне, какой предмет грамматики?

Миша посмотрел по сторонам, поковырял в сосу в сказал:

— Российской грамматики?

— Все равно, вообще.

— Этому мы не учились.

— Что ж с тобой делал поп? — спросил грозно отец.

— Мы, папашенька, учили российскую грамматику до деепричастия и катехизец до таинств.

— Ну поди покажи классную комнату… Позвольте, как вас зовут?

— Дмитрием, — отвечал учитель, покраснев.

— А по батюшке?

— Яковлевым.

— А, Дмитрий Яковлич! Вы не хотите ли с дороги перекусить, выпить водки?

— Я ничего не пью, кроме воды.

«Притворяется!» — подумал Алексей Абрамович, чрезвычайно уставший после продолжительного ученого разговора, и отправился в диванную к жене. Глафира Львовна почивала на мягком турецком диване. Она была в блузе: это ее любимый костюм, потому что все другие теснят ее; пятнадцать лет истинно благополучного замужества пошли ей

впрок: она сделалась Adansonia baobab между бабами. Тяжелые шаги Алексиса разбудили ее, она подняла заспанную голову, долго не могла прийти в себя и, как будто отроду в первый раз уснула не во́-время, с удивлением воскликнула: «Ах, боже мой! Ведь я, кажется, уснула? представь себе!» Алексей Абрамович начал ей отдавать отчет о своих трудах на пользу воспитания Миши. Глафира Львовна была всем довольна и, слушая, выпила полграфина квасу. Она всякий день перед чаем кушала квас.

Не все бедствия кончились для Дмитрия Яковлевича аудиенцией у Алексея Абрамовича; он сидел, молчаливый и взволнованный, в классной комнате, когда вошел человек и позвал его к чаю. Доселе наш кандидат никогда не бывал в дамском обществе; он питал к женщинам какое-то инстинктуальное чувство уважения; они были для него окружены каким-то нимбом; видел он их или на бульваре, разряженными и неприступными, или на сцене московского театра, — там все уродливые фигурантки казались ему какими-то феями, богинями. Теперь его поведут представлять к генеральше, да и одна ли она будет? Миша успел ему рассказать, что у него есть сестра, что у них живет мадам да еще какая-то Любонька. Дмитрию Яковлевичу чрезвычайно хотелось узнать, каких лет сестра Миши; он начинал об этом речь раза три, но не смел спросить, боясь, что лицо его вспыхнет. «Что же? пойдемте-с!» — сказал Миша, который с дипломатией, общей всем избалованным детям, был чрезвычайно скромен и тих с посторонним. Кандидат, вставая, не надеялся, поднимут ли его ноги; руки у него охолодели и были влажны; он сделал гигантское усилие и вошел, близкий к обмороку, в диванную; в дверях он почтительно раскланялся с горничной, которая выходила, поставив самовар. «Глаша, — сказал Алексей Абрамович, — рекомендую тебе — новый ментор нашего Миши». Кандидат кланялся. — «Мне очень приятно, — сказала Глафира Львовна, прищуривая немного глаза и с некоторой ужимкой, когда-то ей удававшейся. — Наш Миша так давно нуждается в хорошем наставнике; мы, право, не зваем, как благодарить Семена Иваныча, что он доставил вам ваше знакомство. Прошу вас быть без церемонии; не угодно ли вам сесть?»

— Я все сидел, — пробормотал кандидат, истинно сам не зная, что говорил.

— Не стоя же ехать в кибитке! — сострил генерал.

Это замечание окончательно погубило кандидата; он взял стул, поставил его как-то эксцентрически и чуть не сел возле. Глаз он боялся поднять, как пущего несчастия; может быть, девицы тут в комнате, а если он их увидит, надобно будет поклониться, — как? Да и потом, вероятно, надобно было не садившись поклониться.

— Я тебе говорил, — сказал генерал вполслуха: — красная девка!

— Le pauvre, il est à plaindre, — заметила Глафира Львовна, кусая жирные губки свои.

Глафире Львовне в нервого взгляда понравился молодой человек; на это было много причин: во-первых, Дмитрий Яковлевич с своими большими голубыми главами был *интересен*; во-вторых, Глафира Львовна, кроме мужа, лакеев, кучеров да старика доктора, редко видала мужчин, особенно молодых, интересных, — а она, как мы после узнаем, любила, по старой памяти, платонические мечтания; в-третьих, женщины в некоторых детах смотрят на юношу с тем непонятно влекущим чувством, с которым обыкновенно мужчины смотрят на девушек. Кажется, будто это чувство близко к состраданию, — чувство материнское, — что им хочется взять под свое покровительство беззащитных, робких, неопытных, их полелеять, поласкать, отогреть; это кажется всего более им самим: мы не так думаем об этом, но не считаем нужным говорить, как думаем… Глафира Львовна сама подвинула чашку чая кандидату; он сильно прихлебнул и обварил язык и нёбо, но скрыл боль с твердостию Муция Сцеволы. Это обстоятельство, было благотворно

для него: сделалось отвлечение, и он немного успокоился. Мало-помалу он начинал даже подымать взоры. На диване сидела Глафира Львовна; перед нею стоял стол, и на столе огромный самовар возвышался, как какой-нибудь памятник в индийском вкусе. Против нее — для того ли, чтоб пользоваться милым vis-à-vis, или для того, чтоб не видать его за самоваром, — вдавливал в пол какие-то дедовские кресла Алексей Абрамович; за креслами стояла девочка лет десяти с чрезвычайно глупым видом; она выглядывала из-за отца на учителя, — ее-то трепетал храбрый кандидат! Миша находился также за столом; перед ним миска кислого молока и толстый ломоть решетного хлеба. Из-под салфетки, покрывавшей стол и на которой был представлен довольно удачно город Ярославль, оканчивавшийся со всех сторон медведем, высовывалась голова легавой собаки; драпри скатерти придавали ей какой-то египетский вид: она неподвижно вперила два жиром заплывшие глаза на кандидата. У окна, на креслах, с чулком в руке, — миниатюрная старушка, с веселым и сморщившимся видом, с повисшими бровями и тоненькими бледными губами. Дмитрий Яковлевич догадался, что это француженка-мадам. У дверей стоял казачок, подававший Алексею Абрамовичу трубку; возле него горничная, в ситцевом платье с холстинными рукавами, ожидавшая с каким-то благоговением, когда господа окончат церемонию пития чая. Еще одно лицо присутствовало в комнате, но его Дмитрий Яковлевич не видал, потому что оно было наклонено к пяльцам. Лицо это принадлежало бедной девушке, которую воспитывал добрый генерал. Разговор долго не клеился, да и когда склеился, был как-то отрывчат, не нужен и утомителен для кандидата.

Странно было это столкновение жизни бедного молодого человека с жизнью семьи богатого помещика. Кажется, эти люди могли бы преспокойно прожить до окончания века не встречаясь. Вышло иначе. Жизнь нежного и доброго юноши, образованного и занимающегося, каким-то диссонансом попала в тучную жизнь Алексея Абрамовича и его супруги, — попала, как птица в клетку. Все для него изменилось, и можно было предвидеть, что такая перемена не пройдет без влияния на молодого человека, совершенно не знавшего практического мира и неопытного.

Но что это за люди такие — генеральская чета, блаженствующая и преуспевающая в счастливом браке, этот юноша, назначенный для выделки Мишиной головы настолько, чтоб мальчик мог вступить в какую-нибудь военную школу?

Я не умею писать повестей: может быть, именно потому мне кажется вовсе не излишним предварить рассказ некоторыми биографическими сведениями, почерпнутыми из очень верных источников. Разумеется, сначала:

II. БИОГРАФИЯ ИХ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВ

Алексей Абрамович Негров, отставной генерал-майор и кавалер, толстый, рослый мужчина, который, после прорезывания зубов, ни разу не был болен, мог служить лучшим и полнейшим опровержением на знаменитую книгу Гуфланда «О продолжении жизни человеческой». Он вел себя диаметрально противоположно каждой странице Гуфланда — и был постоянно здоров и румян. Одно правило гигиены он исполнял только: не расстраивал пищеварения умственными напряжениями и, может быть, этим стяжал право не исполнять всего остального. Строгий, вспыльчивый, жесткий на словах и часто жестокий на деле, нельзя сказать, что он был злой человек от природы; всматриваясь в резкие черты его лица, не совсем уничтожившиеся в мясных дополнениях, в густые черные брови и блестящие глаза, можно было предполагать, что жизнь задавила в нем не одну возможность. Четырнадцати лет, воспитанный природой и француженкой, жившей у его сестры, Негров был записан в кавалерийский полк; получая много денег от нежной родительницы, он лихо проводил свою юность. После кампании 1812 года Негров был произведен в полковники; полковничьи эполеты упали на его плечи тогда, когда они уже были утомлены мундиром; военная служба начала ему надоедать, и он, послужив еще немного и «находя себя не способным продолжать службу по расстроенному здоровью», вышел в отставку и вынес с собою генерал-майорский чин, усы, на которых оставались всегда частицы всех блюд обеда, и мундир для важных оказий. Когда отставной генерал поселился в Москве, которая успела уже обстроиться после пожара, перед ним открылась бесконечная анфилада дней и ночей однообразной, пустой, скучной жизни. Не было занятия, которым бы он умел или хотел заняться. Он ездил из дома в дом, поигрывал в карты, обедал в клубе, являлся в первом ряду кресел в театре, являлся на балах, завел себе две четверки прекрасных лошадей, холил их, учил денно и нощно словами и руками кучера, сам преподавал тайну конной езды форейтору… Так прошло года полтора; наконец кучер выучился сидеть на козлах и держать вожжи, форейтор выучился сидеть на лошади и держать поводья, скука одолела Петрова; он решился ехать в деревню хозяйничать и уверил себя, что эта поездка необходима для предупреждения важного расстройства. Теория его хозяйства была очень несложна: он бранил всякий день приказчика и старосту, ездил за зайцами и ходил с ружьем. Не привыкнув решительно ни к какого рода делам, он не мог сообразить, что надобно делать, занимался мелочами и был доволен. Приказчик и староста были, с своей стороны, довольны барином; о крестьянах не знаю, — они молчали. Месяца через два в окнах господского дома показалось прекрасное женское личико, сначала с заплаканными, а потом просто с прелестными голубыми глазками, В то же самое время староста, нисколько не занимавшийся устройством деревни, доложил генералу, что у Емельки Барбаша изба плоха и что не соблаговолит ли Алексей Абрамович явить отеческую милость и дать ему леску. Лес был пункт помешательства Алексея Абрамовича; он себе на гроб не скоро бы решился срубать дерево; но… но тут он был в добром расположении духа и разрешил Барбашу нарубить леса на избу, прибавив старосте: «Да ты смотри у меня, рыжая бестия, за лишнее бревно — ребро». Староста сбегал на заднее крыльцо и доложил Авдотье Емельяновне о полном успехе, называя ее «матушкой и заступницей». Бедняжка краснела до ушей, но в простоте душевной была рада, что у отца ее будет новая изба. Мы находим в источниках наших мало сведений о завоевании голубых глазок, о встрече с ними. Я полагаю — потому, что эта победы делаются очень просто.

Как бы то ни было; сельская жизнь, в свою очередь, надоела Негрову; он уверил себя, что исправил все недостатки по хозяйству и, что еще важнее, дал такое прочное направление ему, что оно и без него идти может, и снова собрался ехать в Москву. Багаж его увеличился: прелестные голубые глазки, кормилица и грудной ребенок ехали в особой бричке. В Москве их поместили в комнатку окнами на двор. Алексей Абрамович любил малютку, любил Дуню, любил и кормилицу, — это было эротическое время для него! У кормилицы испортилось молоко, ей было беспрестанно тошно, — доктор сказал, что она не может больше кормить. Генерал жалел об ней: «Вот попалась редкая кормилица: и здоровая, и усердная, и такая услужливая, да молоко испортилось… досадно!» Он подарил ей двадцать рублей, отдал повойник и отпустил для излечения к мужу. Доктор советовал заменить кормилицу козою, — так было и сделано; коза была здорова. Алексей Абрамович ее очень любил, давал ей собственноручно черный хлеб, ласкал ее, но это не помешало ей выкормить ребенка. Образ жизни Алексея Абрамовича был такой же, как и в первый приезд; он его выдержал около двух лет, но далее не мог. Совершенное отсутствие всякой определенной деятельности невыносимо для человека. Животное полагает, что все его дело — жить, а человек жизнь принимает только за возможность что-нибудь делать. Хотя Негров с двенадцати часов утра и до двенадцати ночи не бывал дома, во все же скука мучила его; на этот раз ему и в деревню не хотелось; долго владела им хандра, и он чаще обыкновенного давал отеческие уроки своему камердинеру и реже бывал в комнате окнами на двор. Однажды, воротившись домой, он был в необыкновенном состояния духа, чем-то занят, то морщил лоб, то улыбался, долго ходил по комнате и вдруг остановился с решительным видом. Заметно было, что дело внутри кончено. Кончив внутри, он свистнул, — свистнул так, что спавший в другой комнате на стуле казачок от испуга бросился в противоположную сторону от двери и насилу после сыскал. «Спишь все, щенок, — сказал ему генерал, но не тем громовым голосом, после которого сыпались отеческие молнии, а так, просто. — Поди скажи Мишке, чтоб завтра чем свет сходил к немцу-каретнику и привел бы его ко мне к восьми часам, да непременно привел бы». Видно было, что камень свалился с плеч Алексея Абрамовича, и он мог спокойно опочить. На другой день, в восемь часов утра, явился каретник-немец, а в десять окончилась конференция, в которой с большою отчетливостью и подробностью заказана была четвероместная карета, кузов мордоре-фонсе, гербы золотые, Сукно пунцовое, басон коклико, парадные козлы о трех чехлах.

Четвероместная карета значила ни более ни менее как то, что Алексей Абрамович намерен жениться. Намерение это вскоре обнаружилось недвусмысленными признаками. После каретника он позвал своего камердинера. В длинной и довольно нескладной речи (что служит к большой чести Негрова, ибо в этой нескладности отразилось что-то вроде того, что у людей называется совестью) он изъявил ему свое благоволение за его службу и намерение наградить его примерным образом. Камердинер понять не мог, куда это идет, кланялся и говорил учтивости вроде: «кому ж нам и угождать, как не вашему превосходительству; вы — наши отцы, мы — ваши дети». Комедия эта надоела Негрову, и он в кратких, но выразительных словах объявил камердинеру, что он позволяет ему жениться на Дуньке. Камердинер был человек умный и сметливый, и хотя его очень поразила нежданная милость господина, но в два мига он расчел все шансы pro и contra и попросил у него поцеловать ручку за милость и неоставление. Нареченный жених понял, в чем дело; однако ж, думал он, не совсем же в немилость посылают Авдотью Емельяновну, коли за меня отдают: я человек близкий, да и баринов нрав знаю; да и жену иметь такую красивую недурно. Словом, жених был доволен. Дуня удивилась, когда ей сказали, что она

— невеста, поплакала, погрустила, но, имея в виду или ехать в деревню к отцу, или быть женою камердинера, решилась на последнее. Она без содрогания не могла вздумать, как бывшие ее подруги будут над ней смеяться; она вспомнила, что и во времена ее силы и славы они ее называли вполслуха *полубарыней*. Через неделю их обвенчали. Когда, на другое утро, молодые пришли с конфектами на поклон, Негров был весел, подарил новобрачным сто рублей и сказал повару, случившемуся тут: «учись, осёл, люблю наказать, люблю и жаловать; служил хорошо, и ему хорошо». Повар отвечал: «слушаю, ваше превосходительство», но на лице его было написано: «ведь я же тебя надуваю при всякой покупке, а уж тебе меня не провести; дурака нашел!» Вечером камердинер давал пир, от которого вся дворня двое суток пахла водкой, и, точно, он расходов не пожалел. Была, впрочем, мучительно горькая минута для бедной Дуни: маленькую кроватку, а с нею и дочь ее велели перенести в людскую. Дуня безмерно любила малютку всей простой, безыскусственной душой. Алексея Абрамовича она боялась — остальные в доме боялись ее, хотя она никогда никому не сделала вреда; обреченная томному гаремному заключению, она всю потребность любви, все требования на жизнь сосредоточила в ребенке; неразвитая, подавленная душа ее была хороша; она, безответная я робкая, не оскорблявшаяся никакими оскорблениями, не могла вынести одного — жестокого обращения Негрова с ребенком, когда тот чуть ему надоедал; она поднимала тогда голос, дрожащий не страхом, а гневом; она презирала в эти минуты Негрова, и Негров, как будто чувствуя свое унизительное положение, осыпал ее бранью и уходил, хлопнув дверью. Когда надобно было перенести кроватку, Дуня заперла дверь и, рыдая, бросилась на колени перед иконой, схватила ручонку дочери и крестила ее. «Молись, — говорила она: — молись, мое сокровище, идем мы с тобою мыкать горе; пресвятая богородица, заступись за ребенка малого, ни в чем не виноватого… А я-то, глупая, думала: вырастет она, моя сердечная, будет ездить в карете да ходить в шелковых платьях; из-за двери в щелочку посмотрела бы на тебя тогда; спряталась бы от тебя, мой ангел, — что тебе за мать крестьянка!.. А теперь вырастешь ты не на радость себе: сделают тебя, пожалуй, прачкой новой барыни, и ручки-то твои мылом объест… Господи боже мой! Чем пред тобой согрешил младенец?..» И Дуня, рыдая, бросилась на пол; сердце ее раздиралось на части; испуганная малютка уцепилась за нее руками, плакала и смотрела на нее такими глазами, как будто все понимала… Через час кроватка была в людской, и Алексей Абрамович приказал камердинеру приучать ребенка называть себя «тятей».

Но кто же счастливая избранная? В Москве есть особая varietas рода человеческого; мы говорим о тех полубогатых дворянских домах, которых обитатели совершенно сошли со сцены и скромно проживают целыми поколениями по разным переулкам; однообразный порядок и какое-то затаенное озлобление против всего нового составляет главный характер обитателей этих домов, глубоко стоящих на дворе, с покривившимися колоннами и нечистыми сенями; они воображают себя представителями нашего национального быта, потому что им «квас нужен, как воздух», потому что они в санях ездят, как в карете, берут за собой двух лакеев и целый год живут на запасах, привозимых из Пензы и Симбирска. В одном из таких домов жила графиня Мавра Ильинишна. Некогда она кружилась в вихре аристократии, была кокетка, хороша собой, была при дворе, любезничала с Кантемиром, и он писал ей в альбом силлабическим размером мадригал, «сиречь виршную хвалебницу», в которой один стих оканчивался словами: «богиня Минерва», а другой рифмующий стих — словами: «толь протерва». Но от природы чрезвычайно холодная и надменная своей красотой, она отказывала женихам, ожидая какой-то блестящей партии. Между тем отец ее умер, а брат, управлявший нераздельным

имением, лет в десять пропил и проиграл почти все достояние. Столичная жизнь стала слишком дорога; надобно было жить скромнее. Когда графиня вполне поняла затруднительное положение свое, ей было за тридцать лет, и она разом открыла две ужасные вещи: состояние расстроено, а молодость миновала. Тут она сделала несколько отчаянных опытов выйти замуж — они не удались; тогда, запрятав страшную злобу внутри своей груди, она переселилась в Москву, говоря, что ей шум большого света опротивел и что она ищет одного покоя. Сначала в Москве ее носили на руках, считали за особенную рекомендацию на светское значение ездить к графине; но мало-помалу желчный язык ее и нестерпимая надменность отучили от ее дома почти всех. Брошенная, оставленная всеми, старая дева еще более исполнилась негодованием и ненавистью, окружила себя разными приживающими старухами, полунабожными и полубродячими, собирала сплетни со всех концов города, ужасалась развратному веку и ставила себе в высокое достоинство свое бесконечное девство.

Граф-братец, окончательно промотавший свое имение, для поправки состояния решился на геройский подвиг для того времени — женился на купеческой дочери, четыре года ежедневно упрекал ее происхождением, проиграл до копейки приданое, согнал ее со двора, опился и умер. Год спустя умерла и жена, оставив после себя пятилетнюю дочь без всякого состояния. Мавра Ильинишна взяла ее к себе на воспитание. Мудрено сказать, что побудило ее к этому: фамильная гордость, участие к ребенку или ненависть к брату, — как бы то ни было, жизнь маленькой девочки была некрасива: она была лишена всех радостей своего возраста, застращена, запугана, притеснена. Эгоизм старух-девиц ужасен: он хочет выместить на всем окружающем пробелы, оставшиеся в их вымороженном сердце. Безотрадно и скучно подрастала маленькая графиня; по несчастию, она не принадлежала к тем натурам, которые развиваются от внешнего гнета; начав приходить в сознание, она нашла в себе два сильные чувства: непреодолимое желание внешних удовольствий и сильную ненависть к образу жизни тетки. Оба чувства были простительны. Мавра Ильинишна не только не доставляла племяннице никакого рассеяния, но убивала претщательно все удовольствия и невинные наслаждения, которые она сама находила; она думала, что жизнь молодой девушки только для того и назначена, чтоб читать ей вслух, когда она спит, и ходить за нею остальное время; она хотела поглотить всю юность ее, высосать все свежие соки души ее — в благодарность за воспитание, которого она ей не давала, но которым упрекала ее ежеминутно. Время шло. Графиня сделалась невестой, и весьма невестой, — ей было уже двадцать три года. Она чувствовала вполне тягостную скуку и однообразие своего положения, и все существо ее вертелось около одной мысли — вырваться из ада теткина дома. Могила казалась ей лучше; она пила уксус, чтоб получить чахотку, но он не помогал ей; она хотела идти в монастырь, но в ней не было довольно решимости. Вскоре мысли ее приняли другой вборот. Старинные французские романы, которые она, не знаю как, отрыла в теткином гардеробе, пояснили ей, что есть, кроме смерти и монастыря, значительные утешения; она оставила Адамову голову и начала придумывать голову живую, с усами и кудрями. Тысячи романических картин мучили ее и день и ночь; она сочиняла себе целые повести: он ее увозит, их преследуют, «любить им не велят», раздаются выстрелы… «Ты моя навеки!» — говорит он, сжимая пистолет, и проч. На эту тему с бесчисленными вариациями сводились все мечты, все помыслы ее, все сновидения, и бедная с ужасом просыпалась каждое утро, видя, что никто ее не увозит, никто не говорит: «ты моя навеки», — и тяжело подымалась ее грудь, и слезы лились на ее подушки, и она с каким-то отчаянием пила, по приказу тетки, сыворотку, и еще с большим — шнуровалась потом, зная, что некому любоваться на

ее стан. Такое состояние духа не могло быть вполне побеждено сывороткой, а вело прямо к сентиментальности и экзальтации. Графиня начала покровительствовать всех горничных и прижимать к сердцу засаленных детей кучера, — период, после которого девушке или тот час надобно идти замуж, или начать нюхать табак, любить кошек и стриженых собачонок и не принадлежать ни к мужескому, ни к женскому полу. По счастию, на долю графини выпало первое. Она была недурна собой, и в эту именно эпоху должна была поразить нашего героя: зовущее всего существа ее, ее томные глаза, ее неровно подымающаяся грудь победили Негрова. Он увидел ее раз у Старого Вознесенья, — и судьба его жизни была решена. Генерал вспомнил корнетские годы, начал искать всевозможных случаев увидеть графиню, ждал часы целые на паперти и несколько конфузился, когда из допотопной кареты, тащимой высокими тощими клячами, потерявшими способность умереть, вытаскивали два лакея старую графиню с видом вороны в чепчике и мешали выпрыгнуть молодой графине с видом центифольной розы. У генерала была в Москве двоюродная сестра… У кого есть в Москве двоюродная сестра, осёдлая и довольно богатая, тот может жениться почти на всякой невесте, если он имеет чин и деньги, а она не имеет еще жениха. Генерал вверил свою тайну кузине, — та приняла истинно сестринское участие. Месяца два бедная пропадала от скуки, и вдруг, как с неба, свалилось сватовство. Она тотчас, послала дрожки за женой одного титулярного советника. Титулярная советница приехала; кузина выгнала из ближней комнаты горничных, чтоб никто не мог подслушать.

Через час времени титулярная советница с раскрасневшимся лицом выбежала от купины и, наскоро рассказав в девичьей, в чем дело, бросилась со двора. На другой день, утром в девять часов, двоюродная сестра сердилась на неаккуратность титулярной советницы, которая хотела быть в одиннадцать часов и еще не приходила; наконец желанная гостья явилась, и с нею другая особа, в чепчике; словом, дело кипело с необычайного быстротою и с достодолжным порядком. У графини в доме начались исподволь важные перемены: с окон сняли сторы из равендука и велели вымыть, замки было велено вычистить кирпичом с квасом (суррогат уксуса); в передней, где ужасно пахло кожей, оттого что четыре лакея шили подтяжки, выставили зимнюю раму. Оставленная всеми, Мавра Ильинишна была в восхищении, что за ее племянницу сватается генерал да еще пребогатый; но, храня свое достоинство, она едва снизошла до позволения начать сватовство. Однажды утром графиня приказала племяннице одеться повнимательнее, открыть больше шею и сама осматривала ее с ног до головы.

— Да для чего это, maman, вы мне приказываете одеваться? Разве будут гости?

— Не твое дело, душечка, — отвечала графиня, но добрым, приветливым голосом.

Кисейное платье племянницы чуть не вспыхнуло от огня, пробежавшего по ее жилам; она догадывалась, подозревала, не смела верить, не смела не верить… она должна была выйти на воздух, чтоб не задохнуться. В сенях горничные донесла ей, что сегодня ждут генерала, что генерал этот сватается за нее… Вдруг въехала карета.

— Палашка, я умру, я умираю! — говорила молодая графиня.

— И, полноте, ваше сиятельство, кто ж умирает, когда сватаются, да еще такие женихи… Я вот всегда говорила: нашей графине быть за генералом, — извольте всех спросить.

Чье перо в состоянии описать все, что перечувствовала бедная девушка во время показа и смотра!.. Когда она несколько пришла в себя, первое, что поразило ее, — это фрак Алексея Абрамовича: она так твердо верила в его мундир и эполеты… Впрочем, Негров и без мундира мог тогда еще нравиться; хотя ему было под сорок, но, благодаря доброму

здоровью, он сохранил себя удивительно, и, от природы не слишком речистый, он имел ту развязность, которую имеют все военные, особенно служившие в кавалерии; остальные недостатки, какие могла в нем открыть невеста, богато искупались прекрасными усами, щегольски отделанными на тот раз. Свадьба ладилась. Через неделю после смотра графиню Мавру Ильинишну явились поздравлять ее знакомые, — люди, которые считались давно умершими, выползли из своих нор, где они лет тридцать упорно сражались с смертью и не сдались, где они лет тридцать капризничали и собирали деньги, хилые, разбитые параличом, с удушьем и глухотой. Графиня всем говорила одно: «Новость эта меня удивила не меньше вас; я и не думала свою Коко так рано отдавать замуж; дитя еще; ну да, батюшка, божья воля! Человек он солидный и честный, отцом может служить ей: она так неопытна. А генеральство его и богатство — не важная вещь: и через золото слезы текут. Да и нечего сказать, я вкусила плод благочестивого воспитания моего (при этом она прикладывала к глазам платок); истинно, что делает воспитание!

Можно ли было ждать от такого отца развращенного — царство ему небесное — и от купчихи такого детища? Не поверите: ведь она с ним четырех слов не молвила, а я только посоветовала, а она, моя голубушка, хоть бы слово против: если вам, maman, угодно, говорит, так я, говорит, охотно пойду, говорит…» — «Это истинно редкая девица в наш развращенный век!» — отвечали на разные манеры знакомые и друзья Мавры Ильинишны, и потом начинались сплетни и бессовестное черненье чужих репутаций. Словом, немного прошло времени, как к пышно убранной квартире цуг вороных лошадей привез в четвероместной карете мордоре-фонсе генерала Негрова, одетого в мундир с ментиком, и супругу его Глафиру Львовну Негрову, в венчальном платье из воздуха с лентами. Хор певчих, парадные шаферы, плошки, музыка, золото, блеск, духи встретили молодую; вся дворня стояла в сенях, добиваясь увидеть молодых, камердинерова жена в том числе; ее муж, как высший сановник передней, распоряжался в кабинете и спальне. Такого богатства графиня никогда не видала вблизи, и все это ее, и сам генерал ее, — и молодая была счастлива от маленького пальца на ноге до конца длиннейшего волоса в косе: так или иначе, мечты ее сбылись.

Спустя несколько недель после свадьбы Глафира Львовна, цветущая, как развернувшийся кактус, в белом пеньюаре, обшитом широкими кружевами, наливала утром чай; супруг ее, в позолоченном халате из тармаламы и с огромным янтарем в зубах, лежал на кушетке и думал, какую заказать коляску к Святой: желтую или синюю; хорошо бы желтую, однако и синюю недурно. Глафиру Львовну также что-то очень занимало; она забыла чайник и мечтательно склонила голову на руку; иногда румянец пробегал по ее щекам, иногда она показывала явное беспокойство. Наконец муж заметил необыкновенное расположение ее и сказал:

— Ты что-то не в духе, Глашенька; нездоровится, что ли, тебе?

— Нет, я здорова, — отвечала она и при этом подняла глаза к нему с видом человека, просящего помощи.

— Как хочешь, а что-нибудь да есть у тебя на уме.

Глафира Львовна встала, подошла к мужу, обняла его и сказала голосом трагической актрисы:

— Алексис, дай слово, что ты исполнишь мою просьбу!

Алексис начал удивляться.

— Посмотрим, посмотрим, — отвечал он.

— Нет, Алексис, поклянись исполнить мою просьбу могилой твоей матери.

Он вынул чубук изо рта и посмотрел на нее с изумлением.

— Глашенька, я не люблю таких дальних обходов; я солдат: что могу — сделаю, только скажи мне просто.

Она спрятала лицо на его груди и пропищала в слезах:

— Я все знаю, Алексис, и прощаю тебя. Я знаю, у тебя есть дочь, дочь преступной любви… я понимаю неопытность, пылкость юности (Любоньке было три года!..). Алексис, она твоя, я ее видела: у ней твой нос, твой затылок… О, я ее люблю! Пусть она будет моей дочерью, позволь мне взять ее, воспитать… и дай мне слово, что не будешь мстить, преследовать тех, от кого я узнала. Друг мой, я обожаю твою дочь; позволь же, не отринь моей просьбы! — И слезы текли обильным ручьем по тарамаламе халата.

Его превосходительство растерялся и сконфузился до высочайшей степени, и прежде нежели успел: прийти в себя, жена вынудила его дать позволение и поклясться могилой матери, прахом отца, счастьем их будущих детей, именем их любви, что не возьмет назад своего позволения и не будет доискиваться, как она узнала. Разжалованная в дворовые, малютка снова была произведена в барышни, и кроватка опять переехала в бельэтаж. Любоньку, которую сначала отучили отца звать отцом, начали отучать теперь звать мать — матерью, хотели ее вырастить в мысли, что Дуня — ее кормилица. Глафира Львовна сама купила в магазине на Кузнецком мосту детское платье, разодела Любоньку, как куклу, потом прижала ее к сердцу и заплакала. «Сиротка, — говорила она ей, — у тебя нет папаши, нет мамаши, я тебе буду все… Папаша твой там!» — и она указала на небо. — «Папа с крылышками», — пролепетал ребенок, — и Глафира Львовна вдвое заплакала, восклицая: «О, небесная простота!» А дело было очень просто: на потолке, по давнопрошедшей моде, был представлен амур, дрягавший ногами и крыльями и завязывавший какой-то бант у черного железного крюка, на котором висела люстра. — Дуня была на верху счастия; она на Глафиру Львовну смотрела как на ангела; ее благодарность была без малейшей примеси какого бы то ни было неприязненного чувства; она даже не обижалась тем, что дочь отучали быть дочерью; она видела ее в кружевах, она видела ее в барских покоях — и только говорила: «Да отчего это моя Любонька уродилась такая хорошая, — кажись, ей и нельзя надеть другого платьица; красавица будет!» Дуня обходила все монастыри и везде служила заздравные молебны о доброй барыне.

Многие сочтут зкс-графиню героиней. Я полагаю, что ее поступок сам в себе был величайшею необдуманностью, — по крайней мере, равною необдуманности выйти замуж за человека, о котором она только и знала, что ои мужчина и генерал. Причина — очевидно, романтическая экзальтация, предпочитающая всему на свете трагические сцены, самопожертвования, натянуто благородные поступки. Справедливость требует присовокупить, что Глафира Львовна не имела при этом никакой хитрой мысли, ни даже тщеславия; она сама не знала, для чего она хотела воспитывать Любоньку: ей нравилась патетическая сторона этого дела. Алексей Абрамович, позволив однажды, нашёл очень естественным странное положение ребенка и не дал даже себе труда подумать, хорошо или худо он сделал, согласившись на это… В самом деле, хорошо или худо он сделал? Можно многое сказать и «за» и «против». Кто считает высшей целью жизни человеческой развитие, во что бы оно ни стало, какие бы оно последствия ни привело, — тот будет со стороны Глафиры Львовны. Кто считает высшей целью жизни счастье, довольство, в каком бы кругу оно ни было и насчет чего бы оно ни досталось, — тот будет против нее. Любонька в людской, если б и узнала со временем о своем рождении, понятия ее были бы так тесны, душа спала бы таким непробудимым сном, что из этого ничего бы не вышло; вероятно, Алексей Абрамович, чтобы вполне примириться с совестью, дал бы ей

отпускную и, может быть, тысячу-другую приданого; она была бы при своих понятиях чрезвычайно счастлива, вышла бы замуж за купца третьей гильдии, носила бы шелковый платок на макушке, пила бы по двенадцати чашек цветочного чая и народила бы целую семью купчиков; иногда приходила бы она в гости к дворечихе Негрова и видела бы с удовольствием, как на нее с завистью смотрят ее бывшие подруги. Так она могла бы прожить до ста лет и надеяться, что сто извозчичьих дрожек проводят ее на Ваганьковское кладбище. Любонька в гостиной — совсем иное дело: как бы глупо ее ни воспитывали, она получала возможность образоваться; самая даль от грубых понятий людской — своего рода воспитание. С тем вместе она должна была понять всю несообразную нелепость своего положения; оскорбления, слезы, горести ждали ее в бельэтаже, и все это вместе способствовало бы дальнейшему развитию духа, а может быть, с тем вместе, развитию чахотки. Итак, выбирайте сами, хорошо или худо сделала m-me Негрова.

Брачная жизнь Алексея Абрамовича потекла как по маслу; на всех каретных гуляньях являлась его четверня и блестящий экипаж и пышущая счастьем чета в этом экипаже. Их наверное можно было встретить и в Сокольниках 1-го мая, и в Дворцовом саду в Вознесенье, и на Пресненских прудах в Духов день, и на Тверском бульваре почти всякий день. Зимой ездили они в собрание, давали обеды, имели абонированную ложу. Но страшное однообразие убивает московские гулянья: как было в прошлом году, так в нынешнем и в будущем; как тогда с вами встретился толстый купец в великолепном кафтане с чернозубой женой, увешанной всякими драгоценными каменьями, так и нынче непременно встретится — только кафтан постарше, борода побелее, зубы у жены почернее, — а все встретится; как тогда встретился хват с убийственными усами и в шутовском сюртуке, так и нынче встретится, несколько исхудалый; как тогда водили на гулянье подагрика, покрытого нюхательным табаком, так и нынче его поведут… От одного этого можно запереться у себя в комнате. Алексей Абрамович был человек выносливый, однако силы человеческие сочтены: дольше десяти лет он не мог протянуть, надоело и ему и Глаше. В это десятилетие у них родились сын и дочь, и они начали тяжелеть не по дням, а по часам; одеваться не хотелось им больше, и они начали делаться домоседами и, не знаю, как и для чего, а полагаю — больше для всесовершеннейшего покоя, решились ехать на житье в деревню. Это случилось года четыре прежде ученого разговора генерала с Дмитрием Яковлевичем.

III. БИОГРАФИЯ ДМИТРИЯ ЯКОВЛЕВИЧА

Разумеется, биография бедного молодого человека не может иметь той занимательности, как биография Алексея Абрамовича с домочадцами. Мы должны — из мира карет мордоре-фонсе перейти в мир, где заботятся о завтрашнем обеде, из Москвы переехать в дальний губернский город, да и в нем не останавливаться на единственной мощеной улице, по которой иногда можно ездить и на которой живет аристократия, а удалиться в один из немощеных переулков, по которым почти никогда нельзя ни ходить, ни ездить, и там отыскать почерневший, перекосившийся домик о трех окнах, — домик уездного лекаря Круциферского, скромно стоящий между почерневшими и перекосившимися своими товарищами.

Все эти домики скоро развалятся, заместятся новыми, и никто об них не помянет; а между тем во всех них развивалась жизнь, кипели страсти, поколения сменялись поколениями, и обо всех этих существованиях столько же известно, сколько о диких в Австралии, как будто они человечеством оставлены вне закона и не признаны им. Но вот домик, который мы искали. В нем лет тридцать жил добрый, честный старик с своей женою. Жизнь его была постоянною битвою со всевозможными нуждами и лишениями; правда, он вышел довольно победоносно, то есть не умер с голода, не застрелился с отчаяния, но победа досталась не даром: в пятьдесят лет он был и сед, и худ, и морщины покрыли его лице, а природа одарила его богатым запасом сил и здоровья. Не бурные порывы, не страсти, не грозные перевороты источили это тело и придали ему вид преждевременной дряхлости, а беспрерывная, тяжелая, мелкая, оскорбительная борьба с нуждою, дума о завтрашнем дне, жизнь, проведенная в недостатках и заботах. В этих низменных сферах общественной жизни душа вянет, сохнет в вечном беспокойстве, забывает о том, что у нее есть крылья, и, вечно наклоненная к земле, не подымает взора к солнцу. Жизнь лекаря Круциферского была огромным продолжительным геройским подвигом на неосвещенном поприще, награда — насущный хлеб в настоящем и надежда не иметь его в будущем. Он учился на казенный счет в Московском университете и, выпущенный лекарем, прежде назначения женился на немке, дочери какого-то провизора; приданое ее, сверх доброй и самоотверженной души, сверх любви, которую она, по немецкому обычаю, сохранила на всю жизнь, состояло из нескольких платьев, пропитанных запахом розового масла с ребарбаром. Страстно влюбленному студенту в голову не приходило, что он не имеет права ни на любовь, ни на семейное счастье, что и для этих прав есть свой ценз, вроде французского электорального ценза.

Через несколько дней после свадьбы его назначили полковым лекарем в действующую армию. Восемь лет номадной жизни вынес он; на девятый устал и начал просить постоянного места, — ему дали одну из открывшихся ваканций. И Круциферский потащился с женой и детьми с одного края России в другой и поселился в губернском городе NN. Сначала он имел кой-какую практику. Хотя сановники и помещики в губернских городах предпочитают лечиться у немцев, но, по счастию, немца (кроме часовщика) под рукой не находилось. Это был счастливейший период жизни Круциферского; тогда он купил свой домик о трех окнах, а Маргарита Карловна сюрпризом мужу, ко дню Иакова, брата господня, ночью обила старый диван и креслы ситцем, купленным на деньги, собранные по копейке. Ситец был превосходный; на диване Авраам три раза изгонял Агарь с Измаилом на пол, а Сарра грозилась; на креслах с правой стороны были ноги Авраама, Агари, Измаила и Сарры, а с левой — их головы. Но эта

счастливая эпоха не долго продолжалась. Один богатый помещик, село которого было под самым городом, привез с собою домового доктора, отбившего всю практику у Круциферского. Молодой доктор был мастер лечить женские болезни; пациентки были от него без ума; лечил он от всего пиявками и красноречиво доказывал, что не только все болезни — воспаление, но и жизнь есть не что иное, как воспаление материи; о Круциферском он отзывался с убийственным снисхождением; словом, он вошел в моду. Весь город шил ему по канве подушки и кисеты, сувениры и сюрпризы, а о старом лекаре старались забыть. Правда, купцы и духовные остались верными Круциферскому, но купцы никогда не бывали больны, всегда, слава богу, здоровы, — а когда и случалось прихворнуть, то по собственному усмотрению терлись и мазались в бане всякой дряныо — скипидаром, дегтем, муравьиным спиртом — и всегда выздоравливали или умирали через несколько дней. В обоих случаях Круциферскому не приходилось ничего делать, а смерть падала на его счет, и молодой доктор всякий раз говорил дамам: «странная вещь, ведь Яков Иванович очень хорошо знает свое дело, а как не догадался употребить t-rae opii Sydenhamii капель X, solutum in aqua distiliata, да не поставил под ложечку сорок пять пиявок; ведь человек-то бы был жив». Слыша латинские слова, сама губернаторша верила, что человек бы был жив. И так, мало-помалу, Круциферский был сведен на одно жалованье: оно состояло, кажется, из четырехсот рублей; у него было пять человек детей; жизнь становилась тяжелее и тяжелее. Яков Иванович не знал, как прокормиться; скарлатина указала ему выход: трое из детей умерли друг за другом, остались старшая дочь и меньшой сын. Мальчик, кажется, избегнул смерти и болезни своею чрезвычайною слабостью: он родился преждевременно и был не более, как жив; слабый, худой, хилый и нервный, он иногда бывал не болен, но никогда не был здоров. Несчастия этого ребенка начались прежде его рождения. В то время как Маргарита Карловна была тяжела им, над ними готово было разразиться ужасное несчастие. Губернатор возненавидел Круциферского за то, что он не *дал свидетельства о естественной смерти засеченному кучеру одного помещика*. Яков Иванович был на вершок от гибели и с какой-то кроткой, геройской грустью, молча и самоотверженно ждал страшного удара, — удар прошел мимо головы его. В это тревожное время беспрерывных слез родился Митя, единственный наказанный в деле о найденном теле кучера. Дитя это было идолом Маргариты Карловны; чем болезненнее, чем слабее оно казалось, тем упорнее хотела мать сохранить его; она, кажется, делилась с ним своей силой, любовь оживляла его и исторгла его у смерти. Она будто чувствовала, что он останется у них один, — опора, надежда, утешение. А что же сталось с его сестрой? Ей было лет семнадцать, когда в NN стоял пехотный полк; когда он ушел, ушла и лекарская дочь с каким-то подпоручиком; через год писала она из Киева, просила прощенья и благословения и извещала, что подпоручик женился на ней; через год еще писала она из Кишинева, что муж ее оставил, что она с ребенком в крайности. Отец послал ей двадцать пять рублей. После этого не было об ней и вести. Когда Митя подрос, его отдали в гимназию; он учился хорошо; вечно застенчивый, кроткий и тихий, он был даже любим инспектором, который считал не вовсе сообразным с своей должностью любить детей.

Отец хотел после курса записать его в канцелярию гражданского губернатора, в чем ему обещал протежировать секретарь, у которого он лечил безвозмездно детей, вечно золотушных. Вдруг Мите открылась другая дорога. Какой-то меценат и тайный советник проезжал но городу NN, отправляясь из деревни в Москву. *Директор гимназии, имевший талант узнавать явно приближение тайных советников, тотчас отправился просить удостоительной чести посещения вертограда и рассадника отечественного просвещения.*

Меценату не хотелось, но он любил радушные приемы и с тем вместе почтительные. Директор, в мундифе и поддерживая шляпой шпагу, объяснил меценату подробно, отчего сени сыры и лестница покривилась (хотя меценату до этого дела не было); ученики были развернуты правильной колонной; учители, сильно причесанные и с крепко повязанными галстухами, озабоченно ходили, глазами показывали что-то ученикам и сторожу, всего менее потерявшемуся. Учитель физики просил позволения его превосходительства убить кролика под колпаком пневматической машины и голубя лейденской банкой. Меценат просил их пощадить, причем директор, тронутый, посмотрел на всех учителей и на всех учеников, как бы говоря: «Величие всегда сопровождается кротостью». Голубь и кролик после этого жили в залавке у сторожа до самого акта, когда неумолимый учитель все-таки, к большому удовольствию всего города, принес их на жертву науке и образованию. Затем один из учеников вышел вперед, и учитель французского языка спросил его: «Не имеет ли он им что-нибудь сказать по поводу высокого посещения рассадника наук?» Ученик тотчас же начал на каком-то франко-церковном наречии: «Коман пувонн ну поверь анфан ремерсиерь лилюстръ визитеръ».

Глядя по сторонам во время этой кельто-славянской речи, меценат обратил как-то внимание на болезненный и нежный вид Мити, подозвал его к себе, поговорил, приласкал. Директор сказал, что это отличнейший ученик, что он пошел бы далеко, но что отец его не имеет чем содержать его в Москве и проч. Меценат был меценат и сказал Мите, что через месяц или два поедет его управитель, что если его родители согласны, то он ему прикажет привезти Митю в Москву и велит дать ему уголок в своем флигеле вместе с детьми управляющего. Директор послал тотчас письмоводителя за Яковом Ивановичем. Яков Иванович застал мецената, уже садящегося в дормез. Старик был истинно тронут, плакал, как дитя, и простым языком, нескладным и прерывистым, благодарил его. Меценат указал на плечистого мужчину, помогавшего застегивать какие-то ремешки у кареты, и сказал: «Это мой управляющий, он повезет вашего сына», — сказал и уехал, милостиво улыбнувшись. Через месяц кибитка с бубенчиками выехала из ворот Круциферского, и в ней сидел Митя, покрытый одеялом, увязанный и одетый матерью, и приказчик — в одном сюртуке, потому что он в пути предпочитал нагреваться изнутри. И вот от чего зависит судьба человека! Если б меценат не проезжал через город NN, Митя поступил бы в канцелярию, и рассказа нашего не было бы, а был бы Митя со временем старший помощник правителя дел и кормил бы он своих стариков бог знает какими доходами, — и отдохнули бы Яков Иванович и Маргарита Карловна. Отъезд Мити был переломом жизни стариков: они остались одни, тишина, грусть еще более овладели их домиком. Управляющий мецената, человек не слабонервный, почувствовал что-то вроде слез, когда старики расставались с сыном. Бедный отец прощается не так, как богатый; он говорил сыну: «Иди, друг мой, ищи себе хлеба; я более для тебя ничего не могу сделать; пролагай свою дорогу и вспоминай нас!» И увидятся ли они, найдет ли он себе хлеб — все покрыто черной, тяжкой завесой… Хочет отец дать сыну на дорогу побольше, и нет возможности; он десять раз рассчитывает, сколько можно уделить из наличных восьмидесяти рублей, и все ему кажется мало. А мать сколько слез прольет над убогим узелком, в который она положила необходимейшие свои вещи, но понимает, что всего недостает, и знает, что негде взять… Это сцены, никому не известные, мещанские, скрываемые тщательно от постороннего глаза, но вопиющие и раздирающие сердце! Хорошо, что они скрыты!

Молодой Круциферский через четыре года сделался кандидатом. Не одаренный ни особенно блестящими способностями, ни чрезвычайной быстротою соображения, он любовью к науке, постоянным прилежанием вполне заслужил полученную им степень.

Глядя на его кроткое лицо, можно было подумать, что из него разовьется одно из милых германских существований, — существований тихих, благородных, счастливых в немножко ограниченной, но чрезвычайно, трудолюбивой учено-педагогической деятельности, в немножко ограниченном семейном кругу, в котором через двадцать лет муж еще влюблен в жену, а жена еще краснеет от каждой двусмысленной шутки; это существования маленьких патриархальных городков в Германии, пасторских домиков, семинарских учителей, чистые, нравственные и незаметные вне своего круга… Но будто у нас возможна такая жизнь? Я решительно думаю, что нет; нашей душе не свойственна эта среда; она не может утолять жажду таким жиденьким винцом: она или гораздо выше этой жизни, или гораздо ниже, — но в обоих случаях шире. Сделавшись кандидатом, Круциферский сначала попытался получить место при университете; потом думал пробиться частными уроками, — но все попытки были напрасны: он унаследовал от отца удачу во всех предприятиях…

Через несколько месяцев после того, как при звуках литавр и труб было возвещено о кандидатстве Круциферского, он получил письмо от старика, извещавшее его о болезни матери и мимоходом намекавшее на тесные обстоятельства. Зная характер отца, он понял, что одна страшная крайность заставила его сделать такой намек. Последние деньги были прожиты Круциферским, одно средство оставалось: у него был патрон, профессор какой-то *гнозии*, принимавший в нем сердечное участие; он написал к нему письмо открыто, благородно, трогательно и просил взаймы сто пятьдесят рублей. Профессор отвечал учтивейшим образом, тронулся запиской, но денег не прислал; в postscriptum'e ученый муж упрекал самым милым образом Круциферского, что он не приходит никогда к нему обедать. Записка поразила молодого человека, — так мало знал он цену людям или, лучше сказать, деньгам! Ему было очень тяжело; он бросил милую записку доброго профессора на стол, прошелся раза два по комнатке и, совершенно уничтоженный горестью, бросился на свою кровать; слезы потихоньку скатывались со щек его; ему так живо представлялась убогая комната и в ней его мать, страждущая, слабая, может быть, умирающая, — возле старик, печальный и убитый. Больной хочется чего-нибудь, хочется, — но она скрывает, чтоб не увеличить горести мужа, а тот догадывается и тожз скрывает, боясь, что придется отказать ей… Читатель, если вы богаты или, по крайней мере, обеспечены, — принесемте глубокую благодарность небу, и да здравствует полученное нами наследство! да здравствует родовое и благоприобретенное!

В эту тяжелую минуту для кандидата отворилась дверь его комнатки, и какая-то фигура, явным образом не столичная, вошла, снимая темный картуз с огромным козырьком. Козырек этот бросал тень на здоровое, краснощекое и веселое лицо человека пожилых лет; черты его выражали эпикурейское спокойствие и добродушие. Он был в поношенном коричневом сюртуке с воротником, какого именно тогда не носили, с бамбуковой палкой в руках и, как мы сказали, с видом решительного провинциала.

— Вы — господин Круциферский, кандидат здешнего университета?

— Я, — отвечал Дмитрий Яковлевич, — к вашим услугам.

— А вот, господин кандидат, позвольте мне сперва сесть; я постарше вас, да и пришел пешком.

С этими словами он хотел было сесть на стул, на котором висел вицмундирный фрак; но оказалось, что этот стул может только выносить тяжесть фрака без человека, а не человека в сюртуке. Круциферский, сконфузившись, просил его поместиться на кровать, а сам взял другой (и последний) стул.

— Я, — начал посетитель с убийственною медленностью, — инспектор врачебной

управы NN, доктор медицины Крупов, и пришел к вам вот по какому делу…

Инспектор был человек методический, остановился, вынул большую табакерку, положил ее возле себя, потом вынул красный платок и положил его возле табакерки, потом белый платок, которым обтер себе пот, и, нюхая табак, продолжал таким образом:

— Вчерашнего числа я был у Антона Фердинандовича… мы с ним одного выпуска… нет, извините, он вышел годом ранее… да, годом ранее, точно, — все же были товарищи и остались добрыми знакомыми. Вот-с я и прошу его, не может ли он мне указать хорошего учителя в отъездде, в нашу губернию, кондиции, мол, такие и такие, и вот, мол, требуют то и то. Антон-ат Фердинандович и дал мне ваш адрес и, признаюсь, очень лестно отзывался об вас; а потому, если вы желаете иметь кондицию в отъезд, то я мог бы с вами дело покончить.

Антон Фердинандович был именно профессор-патрон: он в самом деле любил Круциферского, но только не рисковал своими деньгами, как мы видели, а рекомендацию всегда был готов дать.

Тяжелый доктор Крупов показался Круциферскому небесным посланником; он откровенно рассказал ему свое положение и заключил тем, что ему выбора нет, что он обязан принять место. Крупов вытащил из кармана что-то среднее между бумажником и чемоданом и вынул письмо, покоившееся в обществе кривых ножниц, ланцетов и зондов, и прочел: «Предложите таковому 2000 рублей в год и никак не более 2500, потому что за 3000 рублей у моего соседа живет француз из Швейцарии. Особая комната, утром чай, прислуга и мытье белья, как обыкновенно. Обедать за столом».

Круциферский не делал никаких требований, краснея говорил о деньгах, расспрашивал о занятиях и откровенно сознавался, что боится смертельно вступить в посторонний дом, жить у чужих людей. Крупов был тронут, уговаривал его не бояться Негровых… «Ведь вам с ними не детей крестить; будете учить мальчика, а с отцом, с матерью видаться за обедом. Генерал денежно вас не обидит, за это я вам отвечаю; жена его вечно спит, — стало, и она вас не обидит, разве во сне. Дом Негрова, поверьте мне, не хуже… признаться, и не лучше всех помещичьих домов». Словом, торг сладился: Круциферский шел в наем за 2500 рублей в год. Инспектор был облепившийся в провинциальной жизни человек, но, однако, человек. Узнав рядом горьких опытов, что все прекрасные мечты, великие слова остаются до поры до времени мечтами и словами, он поселился на веки веков в NN и мало-помалу научился говорить с расстановкой, носить два платка в кармане, один красный, другой белый. Ничто в мире не портит так человека, как жизнь в провинции. Но он не совсем еще вымер: в глазах его еще попрыгивали огоньки. Многое встрепенулось в душе Крупова при виде благородного, чистого юноши; ему вспомнилось то время, когда он с Антоном Фердинандовичем мечтал сделать переворот в медицине, идти пешком в Геттинген… и он горько улыбнулся при этих воспоминаниях. Когда торг кончился, ему пришло в голову: «Хорошо ли я делаю, вталкивая этого юношу в глупую жизнь полустепного помещика?» Даже мысль дать ему своих денег и уговорить его не покидать Москвы пришла ему в голову; лет пятнадцать тому назад он так бы и сделал, но старыми руками ужасно трудно развязывать кошелек. «Судьба!» — подумал Крупов и утешился. Странно, что в этом случае он поступил точь-в-точь, как с древнейших времен поступает человечество: Наполеон говаривал, что судьба — слово, не имеющее смысла, — оттого-то оно так и утешительно.

— Итак, мы дело сладили, — сказал наконец инспектор после маленького молчания, — я еду через пять дней и буду очень рад, если вы разделите со мною тарантас.

IV. ЖИТЬЕ-БЫТЬЕ

Давно известно, что человек везде может оклиматиться, в Лапландии и Сенегалии. Потому дивиться, собственно, нечему, что Круциферский мало-помалу начал привыкать к дому Негрова. Образ жизни, суждения, интересы этих людей сначала поражали его, потом он стал равнодушнее, хотя и был далек от примирения с такою жизнию. Странное дело: в доме Негрова ничего не было ни разительного, ни особенного; но свежему человеку, юноше, как-то неловко, трудно было дышать в нем. Пустота всесовершеннейшая, самая многосторонняя царила в почтенном семействе Алексея Абрамовича. Зачем эти люди вставали с постелей, зачем двигались, для чего жили — трудно было бы отвечать на эти вопросы. Впрочем, и нет нужды на них отвечать. Добрые люди эти жили потому, что родились, и продолжали жить по чувству самосохранения; какие тут цели да задние мысли… Это все из немецкой философии! Генерал вставал в 7 часов утра и тотчас появлялся в залу с толстым черешневым чубуком; вошедший незнакомец мог бы подумать, что проекты, соображения первой важности бродят у него в голове: так глубокомысленно курил он; но бродил один дым, и то не в голове, а около головы. Глубокомысленное курение продолжалось час. Алексей Абрамович все это время тихо ходил по зале, часто останавливаясь перед окном, в которое он превнимательно всматривался, щурил глава, морщил лоб, делал недовольную мину, даже кряхтел, но и это был такой же оптический обман, как вадумчивость. Управитель должен был в это время стоять у дверей, рядом с казачком. Окончив куренье, Алексей Абрамович обращался к управителю, брал у него из рук рапортичку и начинал его ругать не на живот, а на смерть, присовокупляя всякий раз, что «кончено, что он его знает, что он умеет учить мошенников и для примера справедливости отдаст его сына в солдаты, а его заставит ходить за птицами!» Была ли это мера нравственной гигиены вроде ежедневных обливаний холодной водой, — мера, посредством которой он поддерживал страх и повиновение своих вассалов, или просто патриархальная привычка — в обоих случаях постоянство заслуживало похвалы.

Управитель слушал отеческие наставления с безмолвным самоотвержением: слушать их казалось ему такою же существенною обязанностью, сопряженной с его должностью, как красть пшеницу и ячмень, сено и солому.

«Ах ты разбойник! — кричал генерал. — Да тебя мало трех раз повесить!» — «Воля вашего превосходительства», — отвечал с величайшим спокойствием управитель и смотрел своими плутовскими глазами как-то косвенно вниз.

Беседа эта продолжалась до появления детей здороваться; Алексей Абрамович протягивал им руку; с ними являлась миниатюрная *фрацуженка*-мадам, которая как-то уничтожалась, уходя сама в себя, приседая à la Pompadour; она извещала, что чай готов, и Алексей Абрамович отправлялся в диванную, где Глафира Львовна уже дожидалась его перед самоваром. Разговор обыкновенно начинался жалобою Глафиры Львовны на свое здоровье и на бессонницу; она чувствовала в правом виске непонятную, живую боль, которая переходила в затылок и в темя и не давала ей спать. Алексей Абрамович слушал бюллетень о здоровье супруги довольно равнодушно, потому ли, что он один во всем роде человеческом очень хорошо и основательно знал, что она ночью никогда не просыпается, или потому, что ясно видел, как эта хроническая болезнь полезна здоровью Глафиры Львовны, — не знаю.

Зато Элиза Августовна приходила в ужас, жалела о страдалице и утешала ее тем, что и

княгиня Р***, у которой она жила, и графиня М***, у которой она могла бы жить, если б хотела, точно так же страдают живою болью и называют ее tic douloreux. Во время чая приходил повар; благородная чета начинала заниматься заказом обеда и бранить за вчерашний, хотя блюда и были вынесены пусты. Повар имел то преимущество перед приказчиком, что его ежедневно бранил барин, как и приказчика, да, сверх того, бранила барыня. После чая Алексей Абрамович отправлялся по полям; несколько лет жив безвыездно в деревне, он не много успел в агрономии, нападал на мелкие беспорядки, пуще всего любил дисциплину и вид безусловной покорности. Воровство самое наглое совершалось почти перед глазами, и он большей частию не замечал, а когда замечал, то так неловко принимался за дело, что всякий раз оставался в дураках. Как настоящий глава и отец общины, он часто говаривал: «Вору спущу, мошеннику спущу, но уж дерзости не могу стерпеть», — в этом у него состоял патриархальный point d'honneur! Глафира Львовна, кроме чрезвычайных случаев, никогда не выходила из дома пешком, разумеется, исключая старого сада, который от запущенности сделался хорошим и который начинался от самого балкона; даже собирать грибы ездила она всегда в коляске.

Это делалось следующим образом. С вечера отдавался приказ старосте, чтоб собрать легион мальчишек и девчонок с кузовками, корзинками, плетушками и проч. Глафира Львовна с француженкой ехала шагом по просеке, а саранча босых, полуголых и полусытых детей, под предводительством старухи птичницы, барчонка и барышни, нападала на масленки, волвянки, сыроежки, рыжики, белые и всякие грибы. Гриб удивительной величины или чрезвычайной малости приносился птичницей к матушке-енеральше; им изволили любоваться и ехали далее. Возвратившись домой, она всякий раз жаловалась на усталь и ложилась уснуть перед обедом, употребив для восстановления сил какой-нибудь остаток вчерашнего ужина — барашка, теленка, поенного одним молоком, индейку, кормленную грецкими орехами, или что-нибудь в этом роде, легкое и приятное. Между, тем уж и Алексей Абрамович хватил горькой, закусил, *повторил* и отправился прогуляться в саду; он особенно в это время любил пройтись по саду и заняться оранжереей, расспрашивая обо всем садовникову жену, которая во всю жизнь не умела отличить груш от яблок, что не мешало ей иметь довольно приятную наружность. В это время, то есть часа за полтора до обеда, француженка занималась образованием детей. Что она им преподавала, как — это покрывалось непроницаемой тайной. Отец и мать были довольны: кто же имеет право мешаться в семейные дела после этого? — В два часа подавался обед. Каждое блюдо было достаточно, чтоб убить человека, привыкнувшего к европейской нище. Жир, жир и жир, едва смягчаемый капустой, луком и солеными грибами, перерабатывался, при помощи достаточного количества мадеры и портвейна, в упругое тело Алексея Абрамовича, в расплывшееся — Глафиры Львовны и в сморщившееся тельце, едва покрывавшее косточки Элизы Августовны. Кстати, Элиза Августовна не отставала от Алексея Абрамовича в употребдении мадеры (и заметим притом шаг вперед XIX века: в XVIII веке нанимавшейся мадаме не было бы предоставлено право пить вино за столом); она уверяла, что в ее родине (в Лозанне} у них был виноградник и она дома всегда вместо кваса пила мадеру из своих лоз и тогда еще привыкла к ней. После обеда генерал ложился на полчаса уснуть на кушетке в кабинете и спал гораздо долее, а Глафира Львовна отправлялась с мадамой в диванную. Мадам говорила беспрерывно, и Глафира Львовна засыпала под ее бесконечные рассказы. Иногда, для разнообразия, Глафира Львовна посылала за женой сельского священника; та являлась, — какое-то дикое несвязное существо, вечно испуганное и всего боящееся. Глафира Львовна целые часы проводила с ней и потом говорила мадаме: «Ah, comte elie est bête,

insupportable!» И в самом деле, попадья была непроходимо глупа. Потом чай, потом ужин около десяти часов, после ужина семья начинала зевать всеми ртами. Глафира Львовна замечала, что в деревне надобно жить по-деревенски, то есть раньше ложиться спать, — и семья расходилась. В одиннадцать часов дом храпел от конюшни до чердака. Изредка наезжал какой-нибудь сосед — Негров под другой фамилией — или старуха тетка, проживавшая в губернском городе и поврежденная на желании отдать дочерей замуж; тогда на миг порядок жизни изменялся; но гости уезжали — и все шло по-прежнему. Разумеется, что за всеми этими занятиями все еще оставалось довольно времени, которое не знали куда деть, особенно в ненастную осень, в долгие зимние вечера. Весь талант француженки был употребляем на то, чтоб конопатить эти дыры во времени. Надобно заметить, что ей было что порассказать. Она приехала в последние годы царствования покойной императрицы Екатерины портнихой при французской труппе; муж ее был второй любовник, но, по несчастию, климат Петербурга оказался для него гибелен, особенно после того, как, оберегая с бóльшим усердием, чем нужно женатому человеку, одну из артисток труппы, он был гвардейским сержантом выброшен из окна второго этажа на улицу; вероятно, падая, он не взял достаточных предосторожностей от сырого воздуха, ибо с той минуты стал кашлять, кашлял месяца два, а потом перестал — по очень простой причине, потому что умер.

Элиза Августовна овдовела именно в то время, когда муж всего нужнее, то есть лет в тридцать… поплакала, поплакала и пошла сначала в сестры милосердия к одному подагрику, а потом в воспитательницы дочери одного вдовца, очень высокого ростом, от него перешла к одной княгине и т. д., — всего не перескажешь. Довольно, что она умела чрезвычайно хорошо прилаживаться к нравам дома, в котором находилась, вкрадывалась в доверенность, делалась необходимой, исполняла тайные и явные поручения, хранила на всех действиях какую-то печать клиентизма и уничижения, уступала место, предупреждала желания. Словом, чужие лестницы были для нее не круты, чужой хлеб не горек. Она, хохотав и вязав чулок, жила себе беззаботно и припеваючи; ей, вечно втянутой во все маленькие истории, совершающиеся между девичьей и спальней, никогда не приходило в голову о жалком ее существовании. Итак, в скучное время Элиза Августовна тешила своими рассказами, тогда как Алексей Абрамович раскладывал гранпасьянс, а Глафира Львовна, ничего не делая, сидела на диване. Элиза Августовна знала тысячи похождений и интриг о своих благодетелях (так она называла всех, у кого жила при детях); повествовала их она с значительными добавлениями и приписывая себе во всяком рассказе главную роль, худшую или лучшую — все равно. Алексей Абрамович еще с большим интересом, нежели его жена, слушал скандальные хроники воспитательницы своих детей и хохотал от всего сердца, находя, что это — клад, а не мадам. Почти так тянулся день за днем, а время проходило, напоминая себя иногда большими праздниками, постами, уменьшениями дней, увеличением дней, именинами и рождениями, и Глафира Львовна, удивляясь, говорила: «Ах, боже мой, ведь послезавтра Рождество, а кажется, давно ли выпал снег!»

Но где же во всем этом Любонька, бедная девушка, которую воспитывали добрые Негровы? Мы ее совсем забыли. В этом она больше нас виновата: она являлась, большею частью молча, в кругу патриархальней семьи, не принимая почти никакого участия во всем происходившем и принося самым этим явный диссонанс в слаженный аккорд прочих лиц семейства. В этой девице было много странного: с лицом, полным энергии, сопрягались апатия и холодность, ничем не возмущаемые, по-видимому; она до такой степени была равнодушна ко всему, что самой Глафире Львовне было это невыносимо

подчас, и она звала ее ледяной англичанкой, хотя андалузские свойства генеральши тоже подлежали большому сомнению. Лицом она была похожа на отца, только темно-голубые глаза наследовала она от Дуни; но в этом сходстве была такая необъятная противоположность, что два лица эти могли бы послужить Лафатеру предметом нового тома кудрявых фраз: жесткие черты Алексея Абрамовича, оставаясь теми же, искуплялись, так сказать, в лице Любоньки; по ее лицу можно было понять, что в Негрове могли быть хорошие возможности, задавленные жизнию и погубленные ею; ее лицо было объяснением лица Алексея Абрамовича: человек, глядя на нее, примирялся с ним. Но отчего же она всегда была задумчива? отчего немногое веселило ее? отчего она любила сидеть одна у себя в комнате? Много было на это причин, и внутренних и внешних, — начнем с последних.

Положение ее в доме генерала не было завидно — не потому, чтобы ее хотели гнать или теснить, а потому, что, исполненные предрассудков и лишенные деликатности, которую дает одно развитие, эти люди были бессознательно грубы. Ни генерал, ни его супруга не понимали странного положения Любоньки у них в доме и усугубляли тягость его без всякой нужды, касаясь до нежнейших фибр ее сердца. Жесткая и отчасти надменная натура Негрова, часто вовсе без намерения, глубоко оскорбляла ее, а потом он оскорблял ее и с намерением, но вовсе не понимая, как важно влияние иного слова на душу, более нежную, нежели у его управителя, и как надобно было быть осторожным ему о беззащитной девушкой, дочерью и не дочерью, живущей у него по праву и по благодеянию. Эта деликатность была невозможна для такого человека, как Негров; ему и в голову не приходило, чтоб эта девочка могла обидеться его словами; что она такое, чтоб обижаться? Алексей Абрамович, желая укрепить более и более любовь Любоньки к Глафире Львовне, часто повторял ей, что она всю жизнь обязана бога молить за его жену, что ей одной обязана она всем своим счастием, что без нее она была бы не барышней, а горничной. Он в самых мелочных случаях давал ей чувствовать, что хотя она воспитывалась так же, как его дети, но что между ними огромная разница. Когда ей миновало шестнадцать лет, Негров смотрел на всякого неженатого человека как на годного жениха для нее; заседатель ли приезжал с бумагой из города, доходил ли слух о каком-нибудь мелкопоместном соседе, Алексей Абрамович говорил при бедной Любоньке: «Хорошо, кабы посватался заседатель за Любу, право, хорошо; и мне бы с руки, да и ей чем не партия? Ей не графа же ждать!» Глафира Львовна еще менее не теснила Любоньки, даже в иных случаях по-своему баловала ее: заставляла сытую есть, давала не вовремя варенье и проч.; но и от нее бедная много терпела. Глафира Львовна считала себя обязанною каждой вновь знакомившейся даме представлять Любоньку, присовокупляя: «Это сиротка, воспитывающаяся с моими малютками», — потом начинала шептать. Любонька догадывалась, о чем речь, бледнела, сгорала от стыда, особенно когда провинциальная барыня, выслушав тайное пояснение, устремляла на нее дерзкий взгляд, сопровождая его двусмысленной улыбкой. В последнее время Гяафира Львовна немного переменилась к сиротке; ее начала посещать мысль, которая впоследствии могла развиться в ужасные гонения Любоньке: несмотря на всю материнскую слепоту, она как-то разглядела, что ее Лиза — толстая, краснощекая и очень похожая на мать, но с каким-то прибавлением глупого выражения, — будет всегда стерта благородной наружностью Любоньки, которой, сверх красоты, самая задумчивость нридавала что-то такое, почему нельзя было пройти мимо ее. Увидев это, она совершенно была согласна с Алексеем Абрамовичем, что если подвернется какой-нибудь секретарик добренький или заседатель, тоже добренький, то и отдать ее. Всего этого Любонька не могла не видать.

Сверх сказанного, ее теснило и все окружающее; ее отношения к дворне, среди которой жила ее кормилица, были неловки.

Горничные смотрели на нее, как на выскочку и, преданные аристократическому образу мыслей, считали барышней одну столбовую Лизу. Когда же они убедились в чрезвычайной кротости Любоньки, в ее невзыскательности, когда увидели, что она никогда не ябедничает на них Глафире Львовне, тогда она была совершенно потеряна в их мнении, и они почти вслух, в минуты негодования, говорили: «Холопку как ни одевай, все будет холопка: осанки, виду барственного совсем нет». Все это мелочи, не стоящие внимания о точки зрения вечности, — но прошу того сказать, кто испытал на себе ряд ничтожных, нечистых названий, оскорблений, — тот или, лучше, та пусть скажет, легки они или нет. К довершению бедствий Любоньки приезжала иногда проживавшая в губернском городе тетка Алексея Абрамовича с тремя дочерьми. Старуха — злая, полубезумная и ханжа — не могла видеть несчастную девушку и обращалась с нею возмутительно. «С какой стати, матунша, — говорила она, покачивая головой, — принарядилась так? а? Скажите пожалуйста! Да вас, сударыня, можно принять за равную моим дочерям! Глафира Львовна, для чего вы ее так балуете? Ведь Марфушка, родная тетка ее у меня птичницей, рабыня моя; а это с какой стати, право? Да и Алексей-то, старый грешник, постыдился бы добрых людей!» Эти ругательные замечания она заключала всякий раз молитвою, чтоб господь бог простил ее племяннику грех рождения Любоньки.

Дочери тетки — три провинциальные грации, из которых старшая года два-три уже стояла на роковом двадцать девятом году, — если не говорили с такою патриархальною простотою, то давали в каждом слове чувствовать Любе всю снисходительность свою, что они удостаивают ее своей лаской. Любонька при людях не показывала, как глубоко ее оскорбляют подобные сцены, или, лучше, люди, окружавшие ее, не могли понять и видеть прежде, нежели им было указано и растолковано; но, уходя в свою комнату, она горько плакала… Да, она не могла стать выше таких обид — да и вряд ли это возможно девушке в ее положении. Глафире Львовне было жаль Любоньку, но взять ее под защиту, показать свое неудовольствие — ей и в голову не приходило; она ограничивалась обыкновенно тем, что давала Любоньке двойную порцию варенья, и потом, проводив с чрезвычайной лаской старуху и тысячу раз повторив, чтоб chere tante их не забывала, она говорила француженке, что она ее терпеть не может и что всякий раз после ее посещения чувствует нервное расстройство и живую боль в левом виске, готовую перейти в затылок. Нужно ли говорить, что воспитание Любоньки было сообразно всему остальному?

Кроме Элизы Августовны, некто не учил ее; сама же Элвза Августовна занималась с детьми одной французской грамматикой, несмотря на то что тайна французского правописания ей не далась и она до седых волос писала с большими промахами. Кроме грамматики, она и не бралась ни за что, хотя, впрочем, рассказывала, что у какой-то княгини приготовила двух сыновей в университет. Книг в Доме Негрова водилось немного, у самого Алексея Абрамовича ни одной; зато у Глафиры Львовны была библиотека; в диванной стоял шкаф, верхний этаж его был занят никогда не употреблявшимся парадным чайным сервизом, а нижний — книгами; в нем было с полсотни французских романов; часть их тешила и образовывала в незапамятные времена графиню Мавру Ильинишну, остальные купила Глафира Львовна в первый год после выхода замуж, — она тогда все покупала: кальян для мужа, портфель с видами Берлина, отличный ошейник с золотым замочком… В числе этих ненужиостей купила она десятка четыре модных книг; между ними попались две-три английские, также переехавшие в

деревню, несмотря на то что не только в доме Петрова, но на четыре географические мили кругом никто не знал по-английски. Их она взяла за лондонский переплет; переплет был действительно очень хорош. Глафира Львовна охотно позволяла Любоньке брать книги, даже поощряла ее к этому, говоря, что и она страстно любит чтение и очень жалеет, что многосложные заботы по хозяйству и воспитанию не оставляют ей времени почитать. Любонька читала охотно, внимательно; но особенного пристрастия к чтению у ней не было: она не настолько привыкла к книгам, чтоб они ей сделались необходимы; ей что-то все казалось вяло в них, даже Вальтер Скотт наводил подчас на Любоньку страшную скуку. Однако ж бесплодность среды, окружавшей молодую девушку, не подавила ее развития, — совсем напротив, пошлые обстоятельства, в которых она находилась, скорее способствовали усилению мощного роста. Как? — Это тайна женской души. Девушка или с самого начала так прилаживается к окружающему ее, что уж в четырнадцать лет кокетничает, сплетничает, делает глазки проезжающим мимо офицерам, замечает, не крадут ли горничные чай и сахар, и готовится в почтенные хозяйки дома и в строгие матери, или в необычайною легкостью освобождается от грязи и сора, побеждает внешнее внутренним благородством, каким-то откровением постигает жизнь и приобретает такт, хранящий, напутствующий ее. Такое развитие почти неизвестно мужчине; нашего брата учат, учат и в гимназиях, и в университетах, и в бильярдных, и в других более или менее педагогических заведениях, а все не ближе, как лет в тридцать пять, приобретаем, вместе с потерею волос, сил, страстей, ту ступень развития и пониманья, которая у женщины вперед идет, идет об руку с юностью, с полнотою и свежестью чувств..

Любоньке было двенадцать лет, когда несколько слов, из рук вон жестких и грубых, сказанных Негровым в минуту отеческой досады, в несколько часов воспитали ее, дали ей толчок, после которого она не останавливалась. С двенадцати лет эта головка, покрытая темными кудрями, стала работать; круг вопросов, возбужденных в ней, был не велик, совершенно личен, тем более она могла сосредоточиваться на них; ничто внешнее, окружающее не занимало ее; она думала и мечтала, мечтала для того, чтоб облегчить свою душу, и думала для того, чтоб понять свои мечты. Так прошло пять лет. Пять лет в развитии девушки — огромная эпоха; задумчивая, скрытно пламенная. Любонька в эти пять лет стала чувствовать и понимать такие вещи, о которых добрые люди часто не догадываются до гробовой доски; она иногда боялась своих мыслей, упрекала себя за свое развитие — но не усыпила деятельности своего духа. Некому было ей сообщить все занимавшее ее, все собиравшееся в груди; под конец, не имея силы носить всего в себе, она попала на мысль, очень обыкновенную у девушки: она стала записывать свои мысли, свои чувства. Это было нечто вроде журнала; для того чтоб познакомить вас с нею, выписываем из этого журнала следующие строки:

«Вчера вечером сидела я долго под окном; ночь была теплая, в саду так хорошо… Не знаю, отчего мне все делалось грустнее и грустнее; будто темная туча поднялась из глубины души; мне было так тяжело, что я плакала, горько плакала… У меня есть отец и мать, — но я сирота: я одна-одинехонька на всем белом свете, я с ужасом чувствую, что *никого не люблю*. Это страшно! На кого ни посмотришь, все любят кого-нибудь; мне все чужие, — хочу любить и не могу. Мне иногда кажется, что я люблю Алексея Абрамовича, Глафиру Львовну, Мишу, сестру, — но я себя обманываю. Алексей Абрамович так жестко обращается со мной, он мне больше чужой, нежели Глафира Львовна; но он отец мой, — разве дети судят своего отца? разве они любят его за что-нибудь? Его любят за то, что он отец, — я не могу. Сколько раз давала я себе слово с кротостью слушать его

несправедливые упреки, не могу привыкнуть… Как только Алексей Абрамович становится жёсток, мое сердце бьется сильнее, и кажется, если б я дала себе волю, то отвечала бы ему о той же жесткостью… Любовь мою к матери у меня испортили, отняли; едва четыре года, как я узнала, что она — моя мать; мне было поздно привыкнуть к мысли, что у меня есть мать: я ее любила как кормилицу… Ее-то я люблю, но, боюсь признаться, мне неловко с ней; я должна многое скрывать, говоря с нею: это мешает, это тяготит; надобно все говорить, когда любишь; мне с нею не свободно; добрая старушка — она больше дитя, нежели я; да к тому же она привыкла звать меня барышней, говорить мне вы, — это почти тяжелее грубого языка Алексея Абрамовича. Я молилась о них и о себе, просила бога, чтоб он очистил мою душу от гордости, смирил бы меня, ниспослал бы любовь, но любовь не снизошла в мое сердце».

Через неделю. — «Неужели все люди похожи на них, и везде так живут, как в этом доме? Я никогда не оставляла дома Алексея Абрамовича, но мне кажется, что можно лучше жить даже в деревне; иногда мне невыносимо тяжело с ними, — или я одичала, сидя все одна? То ли дело, как уйду в липовую аллею да сяду на лавочке в конце ее и смотрю вдаль, — тогда мне хорошо, я забываю их; не то чтоб весело, скорее грустно — но хорошо грустно… Под горою село; люблю я эти бедные избы крестьян, речку, текущую возле, и рощу вдали; я целые часы смотрю, смотрю и прислушиваюсь — то песня раздается вдали, то стук цепов, то лай собак и скрип телег… А тут, лишь только увидят мое белое платье, бегут ко мне крестьянские мальчики, приносят мне землянику, рассказывают всякий вздор; а я слушаю их, и мне не скучно. Какие славные лиц;а у них, открытые, благородные! Кажется, если б их воспитать так, как Мишу, что за люди из них вышли бы! Они приходят иногда к Мише на господский двор, только я прячусь там от них; наши дворовые и сама Глафира Львовна так грубо обращаются с ними, что у меня сердце кровью обливается; они, бедняжки, стараются всем на свете услужить брату, бегают, ловят ему белок, птиц, — а он обижает их… Странно, Глафира Львовна пречувствительная, плачет, когда рассказывают что-нибудь печальное, а иногда я удивлялась ее жестокости; она, как будто стыдясь, всегда говорит: «Они этого не понимают, с ними нельзя обходиться по-человечески, тотчас забудутся». Мне не верится: видно, крестьянская кровь моей матери осталась в моих жилах! Я всегда с крестьянками говорю, как с другими, как со всеми, и они меня любят, носят мне топленое молоко, соты; правда, они мне не кланяются в пояс, как Глафире Львовне, зато встречают всегда с веселым видом, с улыбкой… Не могу никак понять, отчего крестьяне нашей деревни лучше всех гостей, которые ездят к нам из губернского города и из соседства, и гораздо умнее их, — а ведь те учились и все помещики, чиновники, — а такие все противные…»

Вероятно ли, чтоб девушка, воспитанная в патриархальной семье Негрова, лет семнадцати от роду, никуда не выезжавшая, мало читавшая, еще менее видевшая, так чувствовала? За фактическую достоверность журнала отвечает совесть собиравшего документы; за психическую позвольте вступиться мне. Странное положение Любоньки в доме Негрова вы знаете; она, от природы одаренная энергией и силой, была оскорбляема со всех сторон двусмысленным отношением ко всей семье, положением своей матери, отсутствием всякой деликатности в отце, считавшем, что вина ее рождения падает не на него, а на нее, наконец, всей дворней, которая, с свойственным лакеям аристократическим направлением, с иронией смотрела на Дуню. Куда же было деться Любоньке, отовсюду отталкиваемой? Она, может быть, бежала бы в полк или не знаю куда, если б она была мужчиной: но девушкой она бежала в самое себя; она годы выносила свое горе, свои обиды, свою праздность, свои мысли; когда мало-помалу часть бродившего в ее душе

стала оседать, когда не было удовлетворения естественной, сильной потребности высказаться кому-нибудь, — она схватила перо, она стала писать, то есть высказывать, так сказать, самой себе занимавшее ее и тем облегчить свою душу.

Немного надо проницательности, чтоб предвидеть, что встреча Любоньки с Круциферским при тех обстоятельствах, при которых они встретились, даром не пройдет. Едва многолетние усилия воспитания и светская жизнь достигают до притупления в молодых людях способности и готовности любить. Любонька и Круциферский не могли не заметить друг друга: они были одни; они были в степи… Долгое время застенчивый кандидат не смел сказать с Любонькой двух слов; судьба их познакомила молча. Первое, что сблизило молодых людей, была отеческая простота в обращении Негрова с своими домашними и с прислугой. Любонька целой жизнию, как сама высказала, не могла привыкнуть к грубому тону Алексея Абрамовича; само собою разумеется, что его выходки действовали еще сильнее в присутствии постороннего; ее пылающие щеки и собственное волнение не помешали, однако ж, ей разглядеть, что патриархальные манеры действуют точно так же и на Круциферского; спустя долгое время и он, в свою очередь, заметил то же самое; тогда между ними устроилось тайное пониманье друг друга; оно устроилось прежде, нежели они поменялись двумя-тремя фразами. Как только Алексей Абрамович начинал *шпынять* над Любонькой или поучать уму и нравственности какого-нибудь шестидесятилетнего Спирьку или седого как лунь Матюшку, страдающий взгляд Любоньки, долго прикованный к полу, невольно обращался на Дмитрия Яковлевича, у которого дрожали губы и выходили пятна на лице; он точно так же, чтоб облегчить тяжелонеприятное чувство, искал украдкой прочитать на лице Любоньки, что делается в душе ее. Они сначала не думали, куда поведут эти симпатические взгляды — их больше, нежели кого-нибудь, потому что во всем их окружавшем не было ничего, что могло бы не только перевесить, но держать в пределах, развлекать возникавшую симпатию; совсем напротив, совершенная чуждость остальных лиц способствовала ее развитию.

Я никак не намерен рассказывать вам слово в слово повесть любви моего героя: мне музы отказали в способности описывать любовь:

О ненависть, тебя пою!

Скажу вам вкратце, что через два месяца после водворения в доме Негрова Круциферский, от природы нежный и восторженный, был безумно, страстно влюблен в Любоньку. Любовь его сделалась средоточием, около которого расположились все элементы его жизни; ей он подчинил все: и свою любовь к родителям, и свою пауку — словом, он любил, как может любить нервная, романтическая натура, любил, как Вертер, как Владимир Ленский. Долго не признавался он сам себе в новом чувстве, охватившем всю грудь его, еще долее не высказывал его ей, даже не смел об этом думать, — по большей части и не следует думать: такие вещи делаются сами собою.

Однажды после обеда, когда Негров в кабинете, а Глафира Львовна в диванной отдыхали, в зале сидела Любонька, и Круциферский читал ей вслух стихотворения Жуковского. До какой степени опасно и вредно для молодого человека читать молодой девице что-нибудь, кроме курса чистой математики, это рассказала на том свете Франческа да Римипи Данту, вертясь в проклятом вальсе della bufera infernale: она рассказала, как перешла от чтения к поцелую и от поцелуя к трагической развязке. Наши молодые люди этого не знали и уже несколько дней раздували свою любовь Жуковским, которого привез кандидат. Пока они читали «Ивиковы журавли», все шло хорошо, но,

открыв убийцу по этому делу, они перешли к «Алине и Альсиму», — тогда случилось вот что. Круциферский, прочитав дрожащим голосом первую строфу, отер с лица своего пот и, задыхаясь, осилил еще следующие стихи:

Когда случится жизни в цвете
Сказать душой
Ему: ты будь моя на свете, —

остановился и зарыдал в три ручья; книга выпала у него из рук, голова склонилась — и он рыдал, рыдал безумно, рыдал, как только может рыдать человек, в первый раз влюбленный. «Что с вами?». - спросила Любонька, у которой тоже сердце билось сильно и слезы навернулись на глазах. «Что с вами?» — повторила она, боясь всей душой ответа. Круциферский схватил ее руку и, одушевленный какой-то новой, неведомой силой, не смея, впрочем, поднять глаз, сказал ей: «Будьте, будьте моей Алиной!.. я… я…» Больше он не мог ничего вымолвить. Любонька тихо отдернула свою руку; ее щеки пылали, она заплакала и вышла вон. Круциферский не сделал ничего, чтоб остановить ее; вряд ли даже желал он этого. «Боже мой! — думал он, — что я наделал… Но она так тихо, так кротко вынула свою руку…» И он опять плакал, как ребенок.

Вечером в тот день Элиза Августовна сказала шутя Круциферскому: «Вы, верно, влюблены? рассеянны, печальны…» Круциферский покраснел до ушей. «Видите, какая я мастерица отгадывать; не хотите ли, я вам загадаю на картах?» Дмитрий Яковлевич испытал все, что может испытать злейший преступник, не знающий, что известно производящему следствие и на что он намекает. «Ну что же, хотите?» — спрашивала неотвязчивая француженка.

— Сделайте одолжение, — отвечал молодой человек.

И вот Элиза Августовна начала с какой-то демонической улыбкой раскладывать карты, приговаривая: «А вот дама de vos pensées… да вы пресчастливый: она легла возле вашего сердца!.. Поздравляю, поздравляю… возле червонный туз… она вас очень любит… Это что? — не смеет вам сказать. Да вы что за жестокий кавалер, заставляете ее страдать!!» и проч. При каждом слове Элиза Августовна устремляла на него проницательные глазки свои и радовалась от всей души пытке, которой подвергала несчастного молодого человека. «Pauvre jeune homme, она вас не заставит так страдать, — ну, где же найти такую каменную душу… Да вы говорили ли когда-нибудь ей о вашей любви? Верно, нет!» — Круциферский бледнел, краснел, синел, желтел — и, наконец, спасся бегством. Пришедши к себе в комнату, он схватил лист бумаги; сердце его билось; он восторженно, увлекательно изливал свои чувства: это было письмо, поэма, молитва; он плакал, был счастлив — словом, писавши, он испытал мгновения полного блаженства. Эти мгновения, обыкновенно реющие как молния, — лучшее, прекраснейшее достояние нашей жизни, которого мы не умеем ценить, и вместо того, чтоб упиваться им, мы торопимся, тревожные, ожидающие все чего-то в будущем…

Окончив послание, Круциферский сошел вниз. Пили чай. Любонька не выходила из своей комнаты, у ней болела голова. Глафира Львовна была особенно очаровательна, но на нее никто не обратил внимания. Алексей Абрамович глубокомысленно курил свою трубку (вы, вероятно, не забыли, что его вид был оптический обман). Элиза Августовна проходя за своей чашкой, нашла случай сказать Круциферскому, что ей нужно с ним поговорить. Разговор не вязался; Миша дразнил собаку, она лаяла, — Негров велел ее выгнать; наконец горничная с холстинными рукавами унесла самовар, Алексей Абрамович

раскладывал гранпасьянс, Глафира Львовна жаловалась на боль в голове. Круциферский вышел в залу; начинало смеркаться. Элиза Августовна была уж там. «Когда смеркнется, выйдите на балкон; вас будут ждать», — сказала она. Круциферский был ни жив ни мертв… Верить ли, нет ли?.. Ему назначено свиданье; может быть, она, негодующая, хочет высказать ему свой гнев, может… И он выбежал в сад; ему показалось, что вдали, в липовой аллее, мелькнуло белое платье, но идти туда он не смел, он не знал даже, пойдет ли он на балкон, — да разве для того, чтоб отдать письмо, на одну минуту — только отдать… но страшно вздумать, как взойти на балкон… Он посмотрел наверх: в углу балкона виднелось, несмотря на то что совсем смерилось, белое платье. Это она, она, грустная, задумчивая, — она, быть может, любящая!.. И он стал на первую ступеньку лестницы, которая вела из сада на балкон. Как он до-стигнул наконец верхней, я не берусь вам передать.

— Ах, это вы? — спросила *Любонька* шепотом. Он молчал, захлебываясь воздухом, как рыба.

— Какой вечер прекрасный! — продолжала Любонька.

— Простите меня, простите, бога ради! — отвечал Круциферский и рукою мертвеца взял ее руку.

Любонька ее отдергивала.

— Прочтите эти строки, — сказал он, — и вы узнаете то, о чем мне говорить так трудно…

Снова поток слез оросил его пылающие щеки. *Любонька* жала его руку; он облил слезами ее руку и осыпал поцелуями. Она взяла письмо и спрятала на груди своей. Одушевление его росло, и не знаю, как случилось, но уста его коснулись ее уст; первый поцелуй любви — горе тому, кто не испытал его! *Любонька*, увлеченная, сама напечатлела страстный, долгий, трепещущий поцелуй… Никогда Дмитрий Яковлевич не был так счастлив; он склонил голову себе на руку, он плакал… и вдруг… подняв ее, вскрикнул:

— Боже мой, что я наделал!

Он тут только разглядел, что это была вовсе не *Любонька*, а Глафира Львовна.

— Друг мой, успокойся! — сказала умирающая от избытка жизни Негрова, но Дмитрий Яковлевич давно уже сбежал с лестницы; сойдя в сад, он пустился бежать по липовой аллее, вышел вон из сада, прошел село и упал на дороге, лишенный сил, близкий к удару. Тут только вспомнил он, что письмо осталось в руках Глафиры Львовны. Что делать? — Он рвал свои волосы, как рассерженный зверь, и катался по траве.

Для пояснения странного qui pro quo нам надобно приостановиться и сказать несколько пояснительных слов. Маленькие глазки Элизы Августовны, очень наблюдательные и приобученные к делу, заметили, что с тех пор как семья Негрова увеличилась вступлением в нее Круциферского, Глафира Львовна сделалась несколько внимательнее к своему туалету; что блуза ее как-то иначе надевалась; появились всякие воротнички, разные чепчики, обращено было внимание на волосы, и густая коса Палашки, имевшая несчастие подходить под цвет остатков шевелюры Глафиры Львовны, снова начала привязываться, несмотря на то что ее уже немножко подъела моль. В самом мягком и дородном лице почтенной матери семейства оказались какие-то новые черты, доселе тихо скрывавшиеся в полноте ее ланит; то улыбка — и глаза сделаются масленые, то вздох — и глаза сделаются медовые… Элиза Августовна не проронила ни одной из этих перемен; когда же она, случайно зашедши в комнату Глафиры Львовны во время ее отсутствия и случайно отворив ящик туалета, нашла в нем початую баночку rouge végétal, которая лет пятнадцать покоилась рядом с какой-то глазной примочкой в кладовой, —

тогда она воскликнула внутри своей души: «Теперь пора и мне выступпить на сцену!» В тот же вечер, оставшись наедине с Глафирой Львовной, мадам начала рассказывать о том, как одна — разумеется, княгиня — интересовалась одним молодым человеком, как у нее (то есть у Элизы Августовны) сердце изныло, видя, что ангел-княгиня сохнет, страдает; как княгиня, наконец, пала на грудь к ней, как к единственному другу, и живописала ей свои волнения, свои сомнения, прося ее совета; как она разрешила ее сомнения, дала советы; как потом княгиня перестала сохнуть и страдать, напротив, начала толстеть и веселиться. Глафира Львовна сгорала вечерним огнем своим от этих россказней. Обыкновенно думают, что толстые люди не способны ни к какой страсти, — это неправда: пожар бывает очень продолжителен там, где много жирных веществ, — лишь бы разгореться. А Элиза Августовна, как видите, заняла должность раздувательных мехов и раздула маленькие эротические искорки, бегавшие по Глафире Львовне, в довольно большой огонек. Она не дошла, правда, до того, чтоб Глафира Львовна ей поверила свою тайну; она имела даже великодушие не вынуждать у нее признания, потому что это было вовсе не нужно: она хотела иметь Глафиру Львовну в своей власти — и успех был несомненен. Глафира Львовна в продолжение двух недель сделала ей два подарка — купавинской фабрики платок и одно из своих шелковых платьев.

Круциферский, чистый и девственный не только в поступках, но и в самых мечтах, не догадывался, что значит предупредительная услужливость француженки, ее двусмысленные намеки и, наконец, двусмысленные взгляды Глафиры Львовны. Эта недогадливость его, застенчивая рассеянность и потупленные взоры раздували более и более страсть сорокалетней женщины; странное ниспровержение обыкновенного, отношения полов придавало особый интерес; в самом деле, Глафира Львовна играла роль завоевателя и соблазнителя, а Дмитрий Яковлевич — невинной девушки, около которой злонамеренный паук начал плесть свою паутину. Добрый Негров ничего не замечал, ходил по-прежнему расспрашивать садовникову жену о состоянии фруктовых деревьев, и тот же мир и совет царил в патриархальном доме Алексея Абрамовича. Теперь мы можем возвратиться на балкон.

Глафира Львовна, не понимая хорошенько бегства своего Иосифа и прохладив себя несколько вечерним воздухом, пошла в спальню, и, как только осталась одна, то есть вдвоем с Элизой Августовной, она вынула письмо; ее обширная грудь волновалась; она дрожащими перстами развернула письмо, начала читать и вдруг вскрикнула, как будто ящерица или лягушка, завернутая в письмо, скользнула ей за пазуху. Три горничные вбежали в комнату; Элиза Августовна схватила письмо. Глафира Львовна требовала одеколон, испуганная горничная подала ей летучей мази, она велела себе лить ее на голову… «Ah, le traitre, le scélérat!.. можно ли было ожидать от этой скромницы!.. Англичанка-то наша… нет, этого хамова поколения ничем не облагородишь: ни искры благодарности, ничего… я отогрела змею на груди своей!» Элиза Августовна была в положении одного моего знакомого чиновника, который, всю жизнь успешно плутовав, подал в отставку, будучи уверен, что его некем заменить; подал в отставку, чтоб остаться на службе, — и получил отставку: обманывая целый век, он кончил тем, что обманул, самого себя. Как женщина сметливая, она поняла, в чем дело, поняла, какого маху она дала, да с тем вместе сообразила, что она и Глафира Львовна столько же в руках Круциферского, сколько он в их, сообразила, что, если ревность Глафиры Львовны раздражит его, он может уличить Элизу Августовну, и если не имеет средства доказать, то все же бросит недоверие в душу Алексея Абрамовича. Пока она обдумывала, как укротить гнев оставленной Дидоны, вошел в спальню Алексей Абрамович, зевая и осеняя крестом

рот свой, — Элиза Августовна была в отчаянии.

— Алексис! — воскликнула негодующая супруга. — Никогда бы в голову мне не пришло, что случилось; представь себе, мой друг: этот скромный-то учитель — он в переписке с Любонькой, да в какой переписке, — читать ужасно; погубил беззащитную сироту!.. Я тебя прошу, чтоб завтра его нога не была в нашем доме. Помилуй, перед глазами нашей дочери… она, конечно, еще ребенок, но это может подействовать на имажинацию.

Алексис не был одарен способностью особенно быстро понимать дела и обсуживать их. К тому же он был удивлен не менее, как в медовый месяц после свадьбы, когда Глафира Львовна заклинала его могилой матери, прахом отца позволить ей взять дитя преступной любви. Сверх всего этого, Негров хотел смертельно спать; время для доклада о перехваченной переписке было дурно выбрано: человек сонный может только сердиться на того, кто ему мешает спать, — нервы действуют слабо, все находится под влиянием устали.

— Что такое? Какая переписка у Любы?

— Да, да, переписка у. Любоньки с этим студентом… Благонравница-то наша… Уж признаться, от такого рождения всегда бывают такие плоды!..

— Ну, что же в этой переписке? Стакнулись, что ли? А? Поди береги девку в семнадцать лет; недаром все одна сидит, голова болит, да то да се… Да я его, мошенника, жениться на ней заставлю. Что он, забыл, что ли, у кого в доме живет! Где письмо? Фу ты, пропасть какая, как мелко писано! Учитель, а сам писать не умеет, выводит мышиные лапки: Прочти-ка, Глаша.

— Я и читать не стану таких скандалей.

— Вздор какой несет! Сорок лет бабе, а все еще туда же! Дашка, принеси очки из кабинета.

Дашка, хорошо знавшая дорогу в кабинет, принесла очки. Алексей Абрамович сел к свечке, зевнул, приподнял верхнюю губу, что придало его носу очень почтенное выражение, прищурил глаза и начал с большим трудом, с каким-то тяжело книжным произношением читать:

«Да, будьте моей Алиной. Я безумно, страстно, восторженно люблю вас; ваше имя Любовь…»

— Экой балясник какой! — прибавил генерал.

«…Я ничего не надеюсь, я не смею и мечтать об вашей любви; но моя грудь слишком тесна, я не могу не высказать вам, что я вас люблю. Простите мне, у ваших ног прошу вас — простите…»

— Фу ты, вздор какой! Это еще начало первой страницы… нет, брат, довольно! Покорный слуга читать белиберду такую!.. Предупредить было не ваше дело? чего смотрели? зачем дали им стакнуться?.. Ну, да беда-то не велика, у бабы волос долог, да ум короток. Что нашли в письме? враки; а то есть насчет того ничего нет… А замуж Любу пора, и он чем не жених? Доктор говорит, что он десятого класса. Попробуй-ка позаартачиться у меня… Утро вечера мудренее; пора, спать; прощай, Лизавета Августовна, глаза зорки, а не доглядела… ну, да завтра поговорим!.

И генерал стал раздеваться и через минуту захрапел, уснув с мыслию, что Круциферский у него не отвертится, что он его женит на Любе, — ему наказанье, а ее пристроит к месту.

Это был день неудач. Глафира Львовна никак не ожидала, что в уме Негрова дело это примет такой оборот; она забыла, как в последнее время сама беспрестанно говорила

Негрову о том, что пора Любу отдать замуж; с бешенством влюбленной старухи бросилась она на постель и готова была кусать наволочки, а может быть, и в самом деле кусала их.

Бедный Круциферский все это время лежал на траве; он так искренно, так от души желал умереть, что будь это во время дамского управления Парок, они бы не вытерпели и перерезали бы его ниточку. Удрученный тягостными чувствами, преданный отчаянию и страху, страху и стыду, изнеможенный, он кончил тем, чем начал Алексей Абрамович, то есть уснул. Не будь у него febris erotica, как выражался насчет любви доктор Крупов, у него непременно сделалось бы febris catharralis, но тут холодная роса была для него благотворна: сон его, сначала тревожный, успокоился, и, когда он проснулся часа через три, солнце всходило… Гейне совершенно прав, говоря, что это — старая штука: отсюда оно всходит, а там садится; тем не менее эта старая штука недурна; какова она должна быть для влюбленного — и говорить нечего. Воздух был свеж, полон особого внутреннего запаха; роса тяжелыми, беловатыми массами подавалась назад, оставляя за собою миллионы блестящих капель; пурпуровое освещение и непривычные тени придавали что-то новое, странно изящное деревьям, крестьянским избам, всему окружающему; птицы пели на разные голоса; небо было чисто. Дмитрий Яковлевич встал, и на душе у него сделалось легче; перед ним вилась и пропадала дорога, он долго смотрел на нее и думал: не уйти ли ему по ней, не убежать ли от этих людей, поймавших его тайну, его святую тайну, которую он сам уронил в грязь? Как он воротится домой, как встретится с Глафирой Львовной… лучше бы бежать! Но как же оставить ее, где найти силы расстаться с нею?.. И он тихими шагами пошел назад. Вошедши в сад, он увидел в липовой аллее белое платье; яркий румянец выступил у него на щеках при воспоминании о страшной ошибке, о первом поцелуе; но на этот раз тут была Любонька; она сидела на своей любимой лавочке и задумчиво, печально смотрела вдаль. Дмитрий Яковлевич прислонился к дереву и с каким-то вдохновенным упоением смотрел на нее. В самом деле, в эту минуту она была поразительно хороша; какая-то мысль сильно занимала ее; ей было грустно, и грусть эта придавала нечто величественное чертам ее, энергическим, резким, юно-прекрасным. Молодой человек долго стоял, погруженный в созерцание; его взгляд был полон любви и благочестия; наконец он решился подойти к ней. Необходимость с нею поговорить была велика; ее надобно было предупредить насчет письма. Любонька несколько смутилась, увидя Круциферского, но тут не было никакой натяжки, ничего театрального; бросив быстро взгляд на утренний наряд свой, в котором она не ожидала встречи ни с кем, и так же быстро оправив его, она подняла спокойный, благородный взгляд на Дмитрия Яковлевича. Дмитрий Яковлевич стоял перед нею, сложив руки на груди; она встретила взор его, умоляющий, исполненный любви, страдания, надежды, упоения, и протянула ему руку; он сжал ее со слезами на глазах… Господа! как в юности хорош человек!..

Признание, вырвавшееся по поводу «Алины и Альсима», сильно потрясло Любоньку. Она гораздо прежде, с той женской проницательностью, о которой мы говорили, чувствовала, что она любима; но это было нечто подразумеваемое, не названное словом; теперь слово было произнесено, и она вечером писала в своем журнале:

«Едва могу сколько-нибудь привести в порядок мои мысли. Ах, как он плакал! Боже мой, боже мой! Я никогда не думала, чтоб мужчина мог так плакать. Его взгляд одарен какой-то силой, заставившей меня трепетать, и не от страха; его взгляд так нежен, так кроток, кроток, как его голос… Мне так жаль его было; кажется, если б я послушалась моего сердца, я бы сказала ему, что люблю его, поцеловала бы его для того, чтоб утешить. Он был бы счастлив… Да, он любит меня; я это вижу, я сама люблю его. Какая разница

между ним и всеми, кого я видала! Как он благороден, нежен! Он мне рассказывал о своих родителях: как он их любит! Зачем он мне сказал: «Будь моей Алиной!», у меня есть свое имя, оно хорошо; я его люблю, я могу быть его, оставаясь собою… Достойна ли я любви его? Мне кажется, что не могу так сильно любить! Опять эта черная мысль, вечно терзающая меня…»

— Прощайте, — сказала Любонька, — да перестаньте же так бояться письма; я ничего не боюсь, я знаю их.

Она пожала ему руку так дружески, так симпатично и скрылась за деревьями. Круциферский остался. Они долго говорили. Круциферский был больше счастлив, нежели вчера несчастлив. Он вспоминал каждое слово ее, посился мечтами бог знает где, и один образ переплетался со всеми. Везде она, она… Но мечтам его положил предел казачок Алексея Абрамовича, пришедший звать его к нему. Утром в такое время его ни разу не требовал Негров.

— Что? — спросил его Круциферский с видом человека, которому на голову вылили ушат холодной воды.

— Да то-с, что к барину пожалуйте, — отвечал казачок довольно грубо.

Видно было, что история письма проникла в переднюю.

— Сейчас, — сказал Круциферский, полумертвый от страха и стыда.

Чего было бояться ему? Кажется, не было никакого сомнения, что Любонька его любит: чего ему еще? Однако он был ни жив ни мертв от страха, да и был ни жив ни мертв от стыда; он никак не мог сообразить, что роль Глафиры Львовны вовсе не лучше его роли. Он не мог себе представить, как встретится с нею. Известное дело, что совершались преступления для поправки неловкости…

— А что, любезнейший, — сказал Негров, с видом величественным и приличным важному делу, его занимавшему, — а что, это у вас в университете, что ли, обучают цидулки-то любовные писать?

Круциферский молчал; он был так взволнован, что тон Негрова его не оскорблял. Этот вид, растерянный и страдающий, пришпорил храброго Алексея Абрамовича, и он чрезвычайно громко продолжал, глядя прямо в лицо Дмитрию Яковлевичу:

— Как же вы, милостивый государь, осмелились в моем доме заводить такие шашни? Да что же вы думаете об моем доме? Да и я-то что, болван, что ли? Стыдно, молодой человек, и безнравственно совращать бедную девушку, у которой ни родителей, ни защитников, ни состояния… Вот нынешний век! Оттого что всему учат вашего брата — грамматике, арифметике, а морали не учат… Ославить девушку, лишить доброго имени…

— Да помилуйте, — отвечал Круциферский, у которого мало-помалу негодование победило сознание нелепого своего положения, — что же я сделал? Я люблю Любовь Александровну (ее звали Александровной, вероятно, потому, что отца звали Алексеем, а камердинера, мужа ее матери, Аксёном) и осмелился высказать это. Мне самому казалось, что я никогда не скажу ни слова о моей любви, — я не знаю, как это случилось; но что же вы находите преступного? Почему вы думаете, что мои намерения порочны?

— А вот почему: если б вы имели честные намерения, так вы бы не стали с толку сбивать девушку своими билье-ду, а пришли бы ко мне. Вы знаете, по плоти я ей отец, так вы бы и пришли ко мне, да и попросили бы моего согласия и позволения; а вы задним крыльцом пошли, да и попались, — прошу на меня не пенять, я у себя в доме таких романов не допущу; мудреное ли дело девке голову вскружить! Нет, не ожидал я от вас; вы мастерски прикидывались скромником; и она-то отличилась, поблагодарила за воспитание и за попечение! Глафира Львовна всю ночь проплакала.

— Письмо в ваших руках, — заметил Круциферский, — вы из него можете увидеть, что оно первое.

— Первый блин, да комом. А что, в этом первом письме вы просите ее руки, что ли?

— Я не смел и думать.

— Как это на одно так смелы, а на другое робки? С какою же целью вы писали мышиные лапки на целом почтовом листе кругом?

— Я, право, — отвечал Круциферский, пораженный словами Петрова, — не смел и думать о руке Любови Александровны: я был бы счастливейший из смертных, если б мог надеяться…

— Красноречие — вот вас этому-то там учат, морочить словами! А позвольте вас спросить: если б я и позволил вам сделать предложение и был бы не прочь выдать за вас Любу, — чем же вы станете жить?

Негров, конечно, не принадлежал к особенно умным людям, но он обладал вполне нашей национальной сноровкой, этим особым складом практического ума, который так резко называется: себе на уме. Выдать Любу замуж за кого бы то ни было — было его любимою мечтою, особенно после того, как почтенные родители заметили, что при ней милая Лизонька теряет очень много. Гораздо прежде письма Алексею Абрамовичу приходило в голову женить Круциферского на Любоньке, да и пристроить его где-нибудь в губернской службе. Мысль эта явилась на том основании, на котором он говорил, что если секретарик добренький подвернется, то Любу и отдать за него. Первое, что ему пришло в голову, когда он открыл любовь Круциферского, — заставить его жениться; он думал, что письмо было шалостью, что молодой человек не так-то легко наденет на себя ярмо брачной жизни; из ответов Круциферского Негров ясно видел, что тот жениться не прочь, и потому он тотчас переменил сторону атаки и завел речь о состоянии, боясь, что Круциферский, решась на брак, спросит его о приданом.

Круциферский молчал; вопрос Негрова придавил чугунной плитою его грудь.

— Вы, — продолжал Негров, — вы не ошибаетесь ли насчет ее состояния? У нее ничего нет и ждать неоткуда; конечно, из моего дома я выпущу ее не в одной юбке, но, кроме тряпья, я не могу ничего дать: у меня своя невеста растет.

Круциферский заметил, что вопрос о приданом совершенно чужд для него. Негров был доволен собою и думал про себя: «Вот настоящая овца, а еще ученый!»

— Вот то-то, любезнейший; с конца добрые люди не начинают. Прежде, нежели цидулки писать да сбивать с толку, надобно бы подумать, что вперед; если вы в самом деле ее любите да хотите руки просить, отчего же вы не позаботились о будущем устройстве?

— Что мне делать? — спросил Круциферский голосом, который потряс бы всякого человека с душою.

— Что делать? Ведь вы — классный чиновник да еще, кажется, десятого класса. Арифметику-то да стихи в сторону; попроситесь на службу царскую; полно баклуши бить — надобно быть полезным; подите-ка на службу в казенную палату: вице-губернатор нам свой человек; со временем будете советником, — чего вам больше? И кусок хлеба обеспечен, и почетное место.

Отроду Круциферскому не приходило в голову идти на службу в казенную или в какую бы то пи было палату; ему было так же мудрено себя представить советником, как птицей, ежом, шмелем или не знаю чем. Однако он чувствовал, что в основе Негров прав; он так был непроницателен, что не сообразил оригинальной патриархальности Негрова, который уверял, что у Любоньки ничего нет и что ей ждать неоткуда, и вместе с тем

распоряжался ее рукой, как отец.

— Я мог бы лучше занять место учителя гимназии, — сказал наконец Дмитрий Яковлевич.

— Ну, это будет поплоше. Что такое учитель гимназии? Чиновник и нет, и к губернатору никогда не приглашают, разве одного директора, жалованье бедное.

Последняя речь была произнесена обыкновенным тоном; Негров совершенно успокоился насчет негоциации и был уверен, что Круциферский из его рук не ускользнет.

— Глаша! — закричал Негров в другую комнату. — Глаша!

Круциферский помертвел: он думал, что последний поцелуй любви для Глафиры Львовны так же был важен и поразителен, как для него первый поцелуй, попавшийся не по адресу.

— Что тебе? — отвечала Глафира Львовна.

— Поди сюда.

Глафира Львовна вошла, придавая себе гордую и величественную мину, которая, разумеется, к ней не шла и которая худо скрывала ее замешательство. По несчастию, Круциферский не мог этого заметить: он боялся взглянуть на нее.

— Глаша! — сказал Негров. — Вот Дмитрий Яковлевич просит Любонькиной руки. Мы ее всегда воспитывали и держали, как дочь родную, и имеем право располагать ее рукою; ну, а все же не мешает с нею поговорить; это твое женское дело.

— Ах, боже мой! вы сватаетесь? какие новости! — сказала с горечью Глафира Львовна. — Да это сцена из «Новой Элоизы»!

Если б я был на месте Круциферского, то сказал бы, чтоб не отстать в учености от Глафиры Львовны: «Да-с, а вчерашнее происшествие на балконе — сцена из «Фоблаза». Круциферский промолчал.

Негров встал в ознаменование конца заседания и сказал:

— Только прошу не думать о Любонькиной руке, пока не получите места. После всего советую, государь мой, быть осторожным: я буду иметь за вами глаза да и глаза. Вам почти и оставаться-то у меня в доме неловко. Навязали и мы себе заботу с этой Любонькой!

Круциферский вышел. Глафира Львовна с величайшим пренебрежением отзывалась о нем и заключила свою речь тем, что такое холодное существо, как Любонька, пойдет за всякого, но счастия не может доставить никому.

На другой день утром Круциферский сидел у себя в комнате, погруженный в глубокую думу. Едва прошли двое суток после чтения «Алины и Альсима», я вдруг он почти жених, она его невеста, он идет на службу… Что за странная власть рока, которая так распоряжается его жизнью, подняла его на верх человеческого благополучия, и чем же? Подняла тем, что он поцеловал одну женщину вместо другой, отдал ей чужую записку. Не чудеса ли, не сон ли все это? Потом он припоминал опять и опять все слова, все взгляды Любоньки, в липовой аллее, и на душе у него становилось широко, торжественно.

Вдруг послышались чьи-то тяжелые шаги по корабельной лестнице, которая вела к нему в комнату. Круциферский вздрогнул и с каким-то полустрахом ждал появления лица, поддерживаемого такими тяжелыми шагами. Дверь отворилась, и вошел наш старый знакомый, доктор Крупов; появление его весьма удивило кандидата. Он всякую неделю ездил раз, а иногда и два к Негрову, но в комнату Круциферского никогда не ходил. Его посещение предвещало что-то особенное.

— Этакая проклятая лестница! — сказал он, задыхаясь и обтирая *белым* платком пот с лица. — Нашел же Алексей Абрамович для вас комнату.

— Ах, Семен Иванович! — произнес быстро кандидат и покраснел бог знает почему.

— Ба! — продолжал доктор. — Да какой вид из окон! Это вон вдали-то белеется дубасовская церковь, что ли, вот вправо-то?

— Кажется; наверное, впрочем, не знаю, — отвечал Круциферский, пристально посмотрев налево.

— Студент, неизлечимый студент! Ну, как живете вы здесь месяцы и не знаете, что из окна видно. Ох, молодость!.. Ну, дайте-ка вашу руку пощупать.

— Я, слава богу, здоров, Семен Иванович.

— Вот вам и слава богу, — продолжал доктор, подержав руку Круциферского, — я знал это: усиленный и неравномерный. Позвольте-ка… раз, два, три, четыре… лихорадочный, жизненная деятельность сильно поднята. Вот с таким-то пульсом человек и решается на всякие глупости: бейся пульс, ровно, тук, тук, тук, никогда бы вы не дошли до этого. Мне там, внизу, почтеннейший мой, говорят: «Хочет-де жениться», — ушам не верю; ну, ведь малый, думаю, не глупый, я же его из Москвы привез… не верю; пойду посмотрю; так и есть: усиленный и неравномерный; да при этом пульсе не только жениться, а черт знает каких глупостей можно наделать. Ну, кто же в лихорадочном состоянии решится на такой важный шаг? Подумайте. Полечитесь прежде, приведите орган мышления, то есть мозг, в нормальное состояние, чтоб кровь-то ему не мешала. Хотите, я пришлю фельдшера пустить вам кровь, ну, так, чайную чашечку с половинкой?

— Покорнейше благодарю; я не чувствую никакой нужды.

— Где же вам знать, что нужно и что нет: ведь вы медицине совсем не учились, а я выучился. Ну, не хотите кровопусканья, примите глауберовой соли; аптечка со мной, я, пожалуй, дам.

— Я вам очень благодарен за участие, по должен предупредить вас, что я здоров и вовсе не шутя, а в самом, деле хочу (здесь он запнулся)… жениться и не понимаю, что вы имеете против моего благополучия.

— Очень многое! — Старик сделал пресерьезное лицо. — Я вас люблю, молодой человек, и потому жалею. Вы, Дмитрий Яковлевич, на закате моих дней напомнили мне мою юность, много прошедшего напомнили; я вам желаю добра, и молчать теперь мне показалось преступлением. Ну, как вам жениться в ваши лета? Ведь это Негров вас надул… Вот видите ли, как вы взволнованы, вы не хотите меня слушать, я это вижу, но я вас заставлю выслушать меня; лета имеют свои права…

— О, нет, Семен Иванович, — сказал молодой человек, несколько смешавшись от слов старика, — я понимаю, что из любви ко мне, из желания добра вы высказываете свое мнение; мне жаль только, что оно несколько излишне, даже поздно.

— О, если бы только то вы имели против моего мнения, это — сущая безделица; никогда не поздно остановиться. Брак… у-у какое тяжелое дело! Беда в том, что одни те и не думают, что такое брак, которые вступают в него, то есть после-то и раздумают на досуге, да поздненько: это все — febris erotica; где человеку обсудить такой шаг, когда у него пульс бьется, как у вас, любезный друг мой? Вы понтируете на все свое состояние: может быть, и удастся сорвать банк, может… да какой же умный человек будет рисковать? Ну, да в картах сам виноват, сам и наказан: по делам вору мука. А в женитьбе непременно с собою топишь еще человека. Эй, Дмитрий Яковлевич, подумай! Я верю, что вы ее любите, что и она вас любит, но это ничего не значит. Будьте уверены, что любовь пройдет в обоих случаях: уедете куда-нибудь — пройдет; женитесь — еще скорее пройдет; я сам был влюблен и не раз, а раз пять, но бог спас; и я, возвращаясь теперь домой, спокойно и тихо отдыхаю от своих трудов; день я весь принадлежу моим больным, вечерком в вистик сыграешь, да и ляжешь себе без заботы… А с женою хлопоты,

крик, дети, да весь мир погибай, кроме моей семьи! Трудно жить на месте, трудно перебираться; пойдут мелкие сплетни, вертись около своего очага, книгу под лавку; надобно думать о деньгах, о запасах. Теперь, хоть бы об вас молвить: придет иной раз нужда — что за беда, всякое бывает! Мы, бывало, с Антоном Фердинандовичем, — знакомый вам человек, — денег какой-нибудь рубль, а есть и курить хочется, — купим четверку «фалеру», так уж, кроме хлеба, ничего и не едим, а купим фунт ветчины, так уж не курим, да оба и хохочем над этим, и все ничего; а с женой не то: жену жаль, жена будет реветь…

— О, нет! Эта девушка, наверное, найдет силы перенести нужду. Вы ее не знаете!

— Это-то, любезнейший, еще хуже; как бы очень-то начала кричать, рассердит, по крайней мере, плюненгь, да и прочь пойдешь; а как будет молчать да худеть, а ты-то себе: «Бедная, на что я тебя стащил на антопиеву пищу»… Поломаешь голову, как бы достать денег. Ну, честным путем, брат, не разживешься, плутовать не станешь, — вот ты подумаешь, подумаешь да для освежения головы и хватишь горьконького; оно ничего — я сам употребляю желудочную, — а знаешь, как вторую с горя-то да третью… понимаешь? Ну, да, положим, что и будет кусок хлеба… то есть не больше; ведь она хоть и дочь Негрову, а Негров-то хоть и богат, да ведь я его знаю — не разгуляется! Вот за дочерью-то он приготовил пятьсот душ, ну, а Любоньке разве пять тысяч рублей даст, — что за капитал?.. Ох, жаль мне тебя, Дмитрий Яковлевич! Ну, пусть другие, которые лучшего ничего из себя не сделают, — ты-то бы поберег себя. Я бы предложил вам другое место; поскорее отсюда вон — любовь-то и порассеялась бы; у нас в гимназии открылась хорошая ваканция. Не ребячься, будь мужчина!

— Право, Семен Иваныч, я благодарен вам за участие; но все это совершенно лишнее, что вы говорите: вы хотите застращать меня, как ребенка. Я лучше расстанусь с жизнью, нежели откажусь от этого ангела. Я не смел надеяться на такое счастие; сам бог устроил это дело.

— Эк его! — сказал неумолимый Крупов. — А все я его погубил: ну, зачем было рекомендовать в этот дом! Бог устроил — как же! Негров тебя надул да твоя молодость. Так и быть, не хочу ничего утаивать. Я, любезный Дмитрий Яковлевич, долго жил на свете и не похвастаюсь умом, а много наметался. Знаете, наша должность медика ведет нас не в гостиную, не в залу, а в кабинет да в спальню. Я много видел на своем веку людей и ни одного не пропускал, чтобы не рассмотреть его на обе корки. Вы ведь все людей видите в ливреях да в маскарадных платьях, — а мы за кулисы ходим; нагляделся я на семейные картины; стыдиться-то тут некого, люди тут нараспашку, без церемонии. Homo sapiens — какой sapiens, к черту! — ferus, зверь, самый дикий, в своей берлоге кроток, а человек в берлоге-то своей и делается хуже зверя… К чему бишь я это начал?., да… да… ну, так я привык такие характеры разбирать. Не пара тебе твоя невеста, уж что ты хочешь, — эти глаза, этот цвет лица, этот трепет, который иногда пробегает по ее лицу, — она тигренок, который еще не знает своей силы; а ты — да что ты? Ты — невеста; ты, братец, немка; ты будешь жена, — ну, годно ли это?

Круциферекий обиделся последней выходкой и, против своего обыкновения, довольно холодно и сухо сказал:

— Есть случаи, в которых принимающие участие помогают, а не читают диссертации. Может быть, все то, что вы говорите, правда, — я не стану возражать; будущее — дело темное; я знаю одно: мне теперь два выхода, — куда они ведут, трудно сказать, но третьего нет: или броситься в воду, или быть счастливейшим человеком.

— Лучше броситься в воду: разом конец! — сказал Крупов, тоже несколько

оскорбленный, и вынул красный платок.

Разговор этот, само собою разумеется, не принес той пользы, которой от него ждал доктор Крупов; может быть, он был хороший врач тела, но за душевные болезни принимался неловко. Он, вероятно, по собственному опыту судил о силе любви: он сказал, что был несколько раз влюблен, и, следственно, имел большую практику, но именно потому-то он и не умел обсудить такой любви, которая бывает один раз в жизни.

Крупов ушел рассерженный и вечером того дня за ужином у вице-губернатора декламировал полтора часа на свою любимую тему — бранил женщин и семейную жизнь, забыв, что вице-губернатор был женат на третьей жене и от каждой имел по нескольку человек детей. Слова Крупова почти не сделали никакого влияния на Круциферского, — я говорю почти, потому что неопределенное, неясное, но тяжелое впечатление осталось, как после зловещего крика ворона, как после встречи с покойником, когда мы торопимся на веселый пир. Все это изгладилось, само собою разумеется, при нервом взгляде Любоньки.

— Повесть, кажется, близка к концу, — говорите вы, разумеется, радуясь.

— Извините, она еще не начиналась, — отвечаю я с должным почтением.

— Помилуйте, остается послать за священником!

— Да-с; но ведь я считаю концом, когда за священником посылают, чтоб он соборовал маслом, да я то иной раз не конец. А когда служитель церкви является с тем, чтоб венчать, то это начало совсем новой повести, в которой только те же лица. Она не замедлят явиться перед вами.

1842

V. ВЛАДИМИР БЕЛЬТОВ

В***, — впрочем нет никакой необходимости астрономически и географически точно определять место и время, — в XIX столетии были в губернском городе NN дворянские выборы. Город оживлялся; часто были слышны бубенчики и скрип дорожных экипажей; часто были видны помещичьи зимние повозки, кибитки, возки всех возможных видов, набитые внутри всякою всячиною и украшенные снаружи целой дворней, в шинелях и тулупах, подвязанных полотенцами; часть ее обыкновенно городом шла пешком, кланялась с лавочниками, улыбалась стоящим у ворот товарищам; другая спала во всех положениях человеческого тела, в которых неудобно спать. Мало-помалу помещичьи лошади перевезли почти всех главных действующих лиц в губернию, и отставной корнет Дрягалов был уж налицо и украшал пунцового цвета занавесами окна своей квартиры, нанятой на последние деньги; он ездил в пять губерний на все выборы и на главнейшие ярмарки и нигде не проигрывался, несмотря на то что с утра до ночи играл в карты, и не наживался, несмотря на то что с утра до ночи выигрывал. И отставной генерал Хрящов, славившийся музыкантами, богач, наездник, несмотря на 65 лет, был налицо; он являлся на выборы давать четыре бала и всякий раз отказываться болезнью от места губернского предводителя, которое всякий раз предлагали ему благодарные дворяне. В гостиных начали появляться странные фраки, покоившиеся целое трехлетие, переложенные табачным листом, с бархатными воротниками, изменившимися в цвете и сохранившими какую-то отчаянную форму; вместе с ними явились и странные мундиры всех времен: и милиционные, и с двумя рядами пуговиц, и однобортные, и с одной эполетой, и совсем без эполет. С утра до ночи делались визиты; три года часть этих людей не видалась и с тяжелым чувством замечала, глядя друг на друга, умножение седых волос, морщин, худобы и толщины; те же лица, а будто не те: гений разрушения оставил на каждом свои следы; а со стороны, с чувством, еще более тяжелым, можно было заметить совсем противоположное, а эти три года так же прошли, как и тринадцать, как и тридцать лет, предшествовавшие им…

Во всем городе только и говорили о кандидатах, обедах, уездных предводителях, балах и судьях. Правитель канцелярии гражданского губернатора третий день ломал голову над проектом речи; он испортил два дести бумаги, писав: «Милостивые государи, благородное NN-ское дворянство!..», тут он останавливался, и его брало раздумье, как начать: «Позвольте мне снова в среде вашей» или: «Радуюсь, что я в среде вашей снова»… И он говорил старшему помощнику:

— Ах, Куприян Васильевич, самое запутанное уголовное дело легче в семьсот раз разобрать, нежели написать речь!

— Вы бы попросили у Антона Антоновича «Образцовые сочинения»; там, я помню, есть речи.

— Славная мысль! — сказал правитель дел, страшно больно хлопнув по плечу своего помощника. — Ай-да Куприян Куприянович!

Правитель дел думал, что очень остро называть человека раз по батюшке да раз по самому себе. И он в тот же вечер составил несколько строк, руководствуясь речью князя Холмского из «Марфы Посадницы» Карамзина.

Среди этих всеобщих и грудных занятий вдруг вниманье города, уже столь напряженное, обратилось на совершенно неожиданное, никому не известное лицо, — лицо, которого никто не ждал, ни даже корнет Дрягалов, ждавший всех, — лицо, о

котором никто не думал, которое было вовсе не нужно в патриархальной семье общинных глав, которое свалилось, как с неба, а в самом деле приехало в прекрасном английском дормезе. Лицо это было отставной губернский секретарь Владимир Петрович Бельтов; чего у него недовешивало со стороны чина, искупалось довольно хорошо 3000 душ незаложенного имения; это-то имение, Белое Поле очень подробно знали избираемые и избиратели; но владетель Белого Поля был какой-то миф, сказочное, темное лицо, о котором повествовали иногда всякие несбыточности, так, как повествуют о далеких странах, о Камчатке, о Калифорнии, — вещи странные для нас, невероятные. Несколько лет тому назад говорили, например, что Бельтов, только что вышедший из университета, попал в милость к министру; потом, вслед за тем, говорили, что Бельтов рассорился с ним и вышел в отставку назло своему покровителю. Этому не верили. Есть лица, о которых в провинциях составлено окончательное и определенное понятие; с этими лицами ссориться нельзя, а можно и должно им свидетельствовать почтение; вероятно ли, что Бельтов осмелился?.. Нет, разве навлек на себя справедливый гнев, разве проигрался в карты, или спился, или увез у кого-нибудь дочь, то есть не у особы какой-нибудь, а так, дочь чью-нибудь. Потом сказывали, что он уехал во Францию; к этому догадливые и ученые прибавляли, что он никогда не воротится, что он принадлежит к масонской ложе в Париже; и что ложа назначила его совестным судьей в Америку. «Весьма вероятно! — говорили многие. — Он с малых лет был как брошенный; отец его умер, кажется, в тот год, в который он родился; мать — вы знаете, какого происхождения; притом женщина пустая, экзальте, да и гувернер им попался преразвращенный, никому не умел оказывать должного». Сверх того, этим объясняли, почему он так запустил хозяйство, хотя мужики его славятся богатством и ходят в сапогах. Наконец, года три совсем о нем не говорили, и вдруг это странное лицо, совестный судья от парижской масонской ложи в Америке, человек, ссорившийся с теми, которым надобно свидетельствовать глубочайшее почтение, уехавший во Францию на веки веков, — явился перед NN-ским обществом, как лист перед травой, и явился для того, чтобы приискивать себе голоса на выборах. Во всем этом было чрезвычайно много непонятного для NN-ских жителей. Что за странное предпочтение губернской службы столичной? Что за странное предпочтение службы по выборам? Потом: Париж — и дворянское депутатское собрание, 3000 душ — и чин губернского секретаря… Ну, было над чем потрудиться и без того занятым NN-цам.

Сильнейшая голова в городе был бесспорно председатель уголовной палаты; он решал окончательно, безапелляционно все вопросы, занимавшие общество, к нему ездили совещаться о семейных делах; он был очень учен, литератор и философ. У него был только один соперник — инспектор врачебной управы Крупов… и председатель как-то действительно конфузился при нем; но авторитет Крупова далеко не был так всеобщ, особенно после того, как одна дама губернской аристократии, очень чувствительная и не менее образованная, сказала при многих свидетелях: «Я уважаю Семена Ивановича; но может ли человек понять сердце женщины, может ли понять нежные чувства души, когда он мог смотреть на мертвые тела и, может быть, касался до них рукою?» Все дамы согласились, что не может, и решили единогласно, что председатель уголовной палаты, не имеющий таких свирепых привычек, один способен решать вопросы нежные, где замешано сердце женщины, не говоря уже о всех прочих вопросах. Само собою разумеется, что одна мысль блеснула почти у всех, когда явился Бельтов: что-то скажет Антон Антонович насчет его приезда? Но Антон Антонович был не такой человек, к которому можно было так вдруг адресоваться: «Что вы думаете о г. Бельтове?» Далеко нет; он даже, как нарочно (а, весьма может быть, что и в самом деле нарочно), три дня не был видим ни

на висте у вице-губернатора, ни на чае у генерала Хрящова. Всех любопытнее, с своей стороны, и всех предприимчивее в городе был один советник с Анною в петлице, употреблявший чрезвычайно ловко свой орден, так, что, как бы он ни сидел или ни стоял, орден можно было видеть со всех точек комнаты. Этот носитель ордена св. Анны в петлице решился в воскресенье от губернатора (у которого он не мог не быть в воскресные и праздничные дни) заехать на минуту в собор и, если председателя там нет, ехать прямо к нему. Подъезжая к собору, советник спросил квартального поручика: тут ли председательские сани? — «Никак нет-с, — отвечал квартальный, — да, должно быть, их высокородие и не будут, потому что сейчас я видел, их кучер Пафнушка шел в питейный». Последнее обстоятельство показалось очень важным советнику: не поедет же Антон Антонович в кафедральный собор, подумал он, на одной лошади, а где же Никешке-форейтору справиться с парой буланых! И он, не заходя уж в собор, отправился к председателю.

Председатель, вовсе не ожидая посещения, сидел в своем домашнем костюме, состоявшем из какой-то длинной вязаной куртки, из широких панталон и валяных сапогов на ногах. Он был не велик ростом, широкоплеч и с огромной головой (ум любит простор); все черты лица его выражали какую-то важность, что-то торжественное и исполненное сознания своей силы. Он обыкновенно говорил протяжно, с ударением, так, как следует говорить мужу, вершающему окончательно все вопросы; если какой-нибудь дерзновенный перебивал его, он останавливался, ждал минуту-две и потом повторял снова с нажимом последнее слово, продолжая фразу точно в том духе и характере, в каком начал. Возражений он не мог терпеть, да и не приходилось никогда их слышать ни от кого, кроме доктора Крупова; остальным в голову не приходило спорить с ним, хотя многие и не соглашались; сам губернатор, чувствуя внутри себя все превосходство умственных способностей председателя, отзывался о нем как о человеке необыкновенно умном и говорил: «Помилуйте, ему не председателем быть уголовной палаты, повыше бы мог подняться. Какие сведения! Да и потом вы послушайте его рассуждения — это просто Массильон! Он много по службе потерял, посвящая большую часть времени чтению и наукам». — Итак, этот-то господин, много потерявший из любви к наукам, сидел в куртке перед своим письменным столом; подписав разные протоколы и выставив в пустом месте достодолжное *число ударов* за корчемство, за бродяжество и т. п., он досуха обтер перо, положил его на стол, взял с полочки книгу, переплетенную в сафьян, раскрыл ее и начал читать. Мало-помалу у него по лицу распространилось какое-то сладкое, невыразимое чувство довольства. Но чтение продолжалось недолго; явился на сцену советник с Анной в петлице.

— А я-с как беспокоился на ваш счет, ей-богу! К губернатору поздравить с праздником приехал, — вас, Антон Антонович, нет; вчера не изволили на висте быть; в собор — ваших саней нет; думаю, — не ровён час, ведь могли и занемочь; всякий может занемочь… от слова ничего не сделается. Что с вами? Ей-богу, я так встревожился!

— Покорнейше вас благодарю; я, слава всевышнему, не жалуюсь на здоровье; а вас прошу занять место, почтеннейший господин советник.

— Ах, Антон Антонович! Я, кажется, помешал вам: вы изволили читать.

— Ничего, мой почтеннейший, ничего; у меня есть время для муз и есть для добрых приятелей.

— Вот-с, Антон Антонович! Я полагаю, насчет новеньких книжечек можно теперь вам поснабдиться…

— Не люблю новых, — прервал председатель дипломата-советчика, — не люблю-с

новых книг. Вот и теперь перечитывал «Душеньку» в сотый раз и, истинно уверяю вас, с новым удивительным наслаждением. Какая легкость, какое *востроумие*! Да, Ипполит Федорович не завещал никому таланта.

Тут председатель прочел:

Злоумна ненависть, судя повсюду строго,
Очей имеет много
И видит сквозь покров закрытые дела.
Вотще от сестр своих царевна их скрывала.
И день, и два, и три притворство продолжала,
Как будто бы она супруга въявь ждала.
Сестры темнили вид, под чем он был неявен,
Чего не вымыслит коварная хула?
Он был, по их речам, и страшен и злонравен.

— Вот-с, — перебил в свою очередь советник, — эти точно слово в слово, как у нас теперь говорят об вояжере, посетившем наш город; охота, право, пустословить.

Председатель посмотрел на него строго и, как будто ничего не видал и не слыхал, продолжал:

Он был, по их речам, и страшен и злонравен.
И, верно, Душенька с чудовищем жила.
Советы скромности в сей час она забыла,
Сестры ли в том виной, судьба ли то, иль рок,
Иль Душенькин то был порок,
Она, вздохнув, сестрам открыла,
Что только тень одну в супружестве любила,
Открыла, как и где приходит тень на срок,
И происшествия подробно рассказала,
Но только лишь сказать не знала,
Каков и кто ее супруг,
Колдун, иль змей, иль бог, иль дух.

— Вот эти стихи не звук пустой, а стихи с душою и с сердцем. Я, мой почтеннейший господин советник, по слабости ли моих способностей или по недостатку светского образования, не понимаю новых книг, с Василия Андреевича Жуковского начиная.

Советник, который отроду ничего не читал, кроме, резолюций губернского правления, и то только своего отделения, — по прочим он считал себя обязанным высшей деликатностью подписывать, не читая, — заметил:

— Без сомнения; а вот я полагаю, что приезжие из столицы не так думают.

— Что нам до них! — ответил председатель. — Знаю и очень знаю, все повременные издания ныне хвалят Пушкина; читал я и его. Стихи гладенькие, но мысли нет, чувства нет, а для меня, когда здесь нет (он ошибкою показал на правую сторону груди), так одно пустословие.

— Я сам чрезвычайно люблю чтение, — прибавил советник, которому никак не удавалось овладеть предметом разговора, — да времени совсем не имею: утро провозишься с проклятыми бумагами, в делах правления истинно мало пищи уму и

сердцу, а вечером бостончик, вистик.

— Кто хочет читать, — возразил, воздержно улыбаясь, председатель, — тот не будет всякий вечер сидеть за картами.

— Конечно, так-с; вот, например, говорят об этом-с Бельтове, что он в руки карт не берет, а все читает.

Председатель промолчал.

— Вы, верно, изволили слышать об его приезде?

— Слышал что-то подобное, — отвечал небрежно философ-судия.

— Говорят, страшной учености; вот-с будет вам под пару, право-с; говорят, что даже по-итальянски умеет.

— Где нам, — возразил с чувством собственного достоинства председатель, — где нам! Слыхали мы о господине Бельтове: и в чужих краях был, и в министерствах служил; куда нам, провинциальным медведям! А впрочем, посмотрим. Я лично по имею чести его знать, — он не посещал меня.

— Да он и у его превосходительства не был-с, а ведь приехал, я думаю, дней пять тому назад… Точно, сегодня в обед будет пять дней. Я с Максимом Ивановичем обедал у полицеймейстера, и, как теперь помню, за *пудином* услышали мы колокольчик; Максим Иваныч, — знаете его слабость, — не вытерпел: «Матушка, говорит, Вера Васильевна, простите», подбежал к окну и вдруг закричал: «Карета шестерней, да какая карета!» Я к окну: точно, карета шестерней, отличнейшая, — Иохима, должно быть, работы, ей-богу. Полицмейстер сейчас унтера… «Бельтов-де из Петербурга».

— Мне, сказать откровенно, — начал председатель несколько таинственно, — этот господин подозрителен: он или промотался, или в связях с полицией, или сам под надзором полиции. Помилуйте, тащится девятьсот верст на выборы, имея три тысячи душ!

— Конечно-с, сомнения нет. Признаюсь, дорого дал бы я, чтоб вы его увидели: тогда бы тотчас узнали, в чем дело. Я вчера после обеда прогуливался, — Семен Иванович для здоровья приказывает, — прошел так раза два мимо гостиницы; вдруг выходит в сени молодой человек, — я так и думал, что это он, спросил полового, говорит: «Это — камердинер». Одет, как наш брат, нельзя узнать, что человек… Ах, боже мой, да у вашего подъезда остановилась карета!

— Что ж вас это удивляет? — возразил стоический председатель. — Меня нередко посещают добрые знакомые.

— Да-с; но, может быть…

В эту минуту вошла в комнату толстая, румяная горничная, в глубоком дезабилье, и сказала: «Приехал какой-то помещик в карете; я его не видала прежде, принимать, что ли?»

— Подай мне халат. — сказал председатель, — и проси…

Что-то вроде улыбки показалось на лице его в то время, как он облекался в свой шелковый халат цвета лягушечьей спинки. Советник встал со стула и был в сильном волнении.

Человек лет тридцати, прилично и просто одетый, вошел, учтиво кланяясь хозяину. Он был строен, худощав, и в лице его как-то странно соединялись добродушный взгляд с насмешливыми губами, выражение порядочного человека с выражением баловня, следы долгих и скорбных дум с следами страстей, которые, кажется, не обуздывались. Председатель, не теряя чувства своей доблести, приподнялся с кресел и показывал, стоя на одном месте, вид, будто он идет навстречу.

— Я — здешний помещик Бельтов, приехал сюда на выборы и счел себя обязанным

познакомиться с вами.

— Чрезвычайно рад, — сказал председатель, — чрезвычайно рад и прошу покорнейше, милостивый государь, занять место.

Все сели.

— Недавно изволили приехать?

— Дней пять тому назад.

— Откуда?

— Из Петербурга.

— Ну, вам после столичного шума будет очень скучно в монотонной жизни маленького провинциального городка.

— Не знаю, но, право, не думаю; мне как-то в больших городах было очень скучно.

Оставимте на несколько минут, или на несколько страниц, председателя и советника, который, после получения Анны в петлицу, ни разу не был в таком восторге, как теперь: он пожирал сердцем, умом, глазами и ушами приезжего; он все высмотрел: и то, что у него жилет был не застегнут на последнюю пуговицу, и то, что у него в нижней челюсти с правой стороны зуб был выдернут, и проч. и проч. Оставимте их и займемтесь, как NN-цы, исключительно странным гостем.

VI

Мы уже знаем, что отец Бельтова умер вскоре после его рождения и что мать его была *экзальте* и обвинялась в дурном поведении Бельтова. По несчастию, нельзя не согласиться, что она одна из главных причин всех неудач в карьере своего сына. История этой женщины сама по себе очень замечательна. Она родилась крестьянкой; лет пяти ее взяли во двор: у ее барыни были две дочери и муж; муж заводил фабрики, делал агрономические опыты и кончил тем, что заложил все имение в Воспитательный дом. Вероятно, считая, что этим исполнил свое экономическое призвание в мире сем, он умер. Расстройство дел ужаснуло вдову; она плакала, плакала, наконец утерла слезы и с мужеством великого человека принялась за поправку имения. Только ум женщины, только сердце нежной матери, желающей приданого дочерям, может изобрести все средства, употребленные ею для достижения цели. От сушения грибов и малины, от сбора талек и обвешиванья маслом до порубки в чужих рощах *и продажи парней в рекруты, не стесняясь очередью*, — все было употреблено в действие (это было очень давно, и что теперь редко встречается, то было еще в обычае тогда) и, надобно правду сказать, помещица села Засекина пользовалась всеобщей репутацией несравненной матери.

Между разными бумагами покойного агронома она нашла вексель, данный ему содержательницей какого-то пансиона в Москве, списалась с нею, но, видя, что деньги мудрено выручить, она уговорила ее принять к себе трех-четырех дворовых девочек, предполагая из них сделать гувернанток для своих дочерей или для посторонних. Через несколько лет возвратились доморощенные гувернантки к барыне с громким аттестатом, в котором было написано, что они знают закон божий, арифметику, российскую пространную и всеобщую краткую историю, французский язык и проч., в ознаменование чего при акте их наградили золотообрезными экземплярами «Paul et Virginie». Барыня велела очистить для них особую комнату и ждала случая их пристроить. Тетка отца нашего Бельтова искала именно в это время воспитательницу для своих дочерей и, узнав, что соседка ее имеет гувернанток, ей принадлежащих, адресовалась к ней, — потолковали о цене, поспорили, посердились, разошлись и, наконец, поладили. Барыня позволила тетке выбрать любую, и выбор пал на будущую мать нашего героя. Года через два-три приехал в свою деревню отец Владимира. Он был молод, развратен, игрок, в отставке, охотник пить, ходить с ружьем, показывать ненужную удаль и волочиться за всеми женщинами моложе тридцати лет и без значительных недостатков в лице. Со всем этим нельзя сказать, чтоб он был решительно пропащий человек: праздность, богатство, неразвитость и дурное общество нанесли на него «семь фунтов грязи», как выражается один мой знакомый, но к чести его должно сказать, что грязь не вовсе приросла к нему. Бельтов был редко чем-нибудь занят и потому часто посещал свою тетку; имение его было в пяти верстах от теткиной усадьбы. Софи (так звали гувернантку) приглянулась ему: ей было лет двадцать, — высокая ростом, брюнетка, с темными глазами и с пышной косой юности. Долго думать казалось Бельтову смешным; он, вопреки Вобановой системе, не повел дальних апрошей, а как-то, оставшись с ней один в комнате, обнял ее за талию, расцеловал и звал очень усердно пройтиться вечером по саду. Она вырвалась из его рук, хотела было кричать, но чувство стыда, но боязнь гласности остановили ее; без памяти бросилась она в свою комнату и тут в первый раз вымерила всю длину, ширину и глубину своего двусмысленного положения. Раздраженный отказом, Бельтов начал ее преследовать своей любовью, дарил ей брильянтовый перстень, который она не взяла, обещал брегетовские

часы, которых у него не было, и не мог надивиться, откуда идет неприступность красавицы; он и ревновать принимался, но не мог найти к кому; наконец, раздосадованный Бельтов прибегнул к угрозам, к брани, — и это не помогло; тогда ему пришла другая мысль в голову: предложить тетке большие деньги за Софи, — он был уверен, что алчность победит ее выставляемое целомудрие; но как человек, вечно поступавший очертя голову, он намекнул о своем намерении бедной девушке; разумеется, это ее испугало более всего прочего, она бросилась к ногам своей барыни, обливаясь слезами, рассказала ей все и умоляла позволить ехать в Петербург. Не знаю, как это случилось, но она барыню застала врасплох; старуха, не зная Талейранова правила — «никогда не следовать первому побуждению сердца, потому что оно всегда хорошо», — тронулась ее судьбою и предложила ей отпускную за небольшой взнос двух тысяч рублей. «Я сама, — сказала она ей, — заплатила за тебя эти деньги; а корм и платье, с тех пор потраченные на тебя? Ну, а пока выплатишь деньги, присылай мне какой-нибудь небольшой оброк, рублей сто двадцать, и я велю Платошке написать паспорт; он ведь у меня дурак, испортит, пожалуй, лист, а нынче куды дорога гербовая бумага». Софи согласилась на все, благодарила, обливаясь слезами, барыню и несколько успокоилась. Через неделю Платошка написал паспорт, заметил в нем, что у ней лицо обыкновенное, нос обыкновенный, рост средний, рот умеренный и что особых примет не оказалось, кроме *по-французски говорит*; а через месяц Софи упросила жену управляющего соседним имением, ехавшую в Петербург положить в ломбард деньги и отдать в гимназию сына, взять ее с собою; кибитку нагрузили грибами, вареньем, медом, мочеными и сушеными ягодами, назначенными в подарки; жена управляющего оставила только место для себя; Софи поместилась на какой-то кадке, которая в продолжение девятисот верст напоминала ей, что она сделана не из лебяжьего пуха. Гимназиста усадили на козлах; он был долговязый малый, лет четырнадцати, куривший нежинские корешки и более развитый, нежели казалось; он всю дорогу ухаживал за Софи, и если б не помойного цвета прищуренные глаза его матери, то он, может быть, перещеголял бы Бельтова. A propos, Бельтов сделал опыт увезти Софи, когда она переезжала от тетки к управительше, и вероятно бы увез, если б кучер не нарезался пьян и не сбился с дороги, с досады и в первую минуту горького сознания о кислоте винограда Бельтов разболтал свой роман не совсем в том виде, как он был, компании игроков. Он представил, что тетка его, ревнивая, как все старухи, насильно услала Софью, влюбленную в него более, нежели по уши; впрочем, он отчасти был рад, что она уехала и увезла с собой кой-какие знаки его внимания. Известно, что из кочующих племен в Европе цыгане и игроки никогда не ведут оседлой жизни, и потому нет ничего удивительного, что один из слушателей Бельтова через несколько дней был уже в Петербурге. Он находился в самой тесной дружбе с француженкой Жукур, содержательницей пансиона. Жукур, шнуровавшаяся ежедневно до сорока лет и носившая платья с высоким воротом из стыдливости, была неумолимо строга к нравственности ближнего; говоря о том о сем, она рассказала своему другу, что у ней нанялось классной дамой престранное существо, принадлежащее NN-ской госпоже и говорящее прекрасно по-французски. Кочующий друг расхохотался. «Ба! старая знакомая! это прекрасно! это превосходно — ха, ха, ха, ха, — помилуйте, да я ее тысячу раз видал у Бельтова, куда она таскалась по ночам, когда у тетки в доме все спали». Потом, ревнуя о репутации заведения, он предупредил мадам Жукур насчет положения Софи. Жукур была вне себя от испуга, кричала: «Quelle dèmoralisation dans ce pays barbarei», забыла от негодования все на свете, даже и то, что у привилегированной повивальной бабки, на углу их улицы, воспитывались два ребенка, разом родившиеся, из которых один был похож на

Жукур, а другой — на кочующего друга. Сгоряча она хотела послать за квартальным, потом ехать к французскому консулу, но рассудила, что это вовсе не нужно, и просто-напросто прогнала Софи из дому самым грубым образом, забыв второпях отдать ей следующие деньги. — Жукур рассказала трем другим содержательницам страшную историю, эти — всем остальным в Петербурге. Куда ни адресовалась бедная девушка, везде ей указывали дверь. Она стала искать частного места, но где найти — знакомых нет. Вышло было какое-то место в отъезд, и довольно выгодное, но мать прежде, нежели кончила, съездила осведомиться к мадам Жукур — и потом благодарила провидение за спасение дочери. Софи подождала еще неделю, пересчитала свои деньги, — у ней было тридцать пять рублей и никаких надежд; квартира, которую она наняла, была ей не по карману, и она, долго искав, переехала наконец в пятый, если не шестой, этаж огромного дома в конце Гороховой, набитого всякой сволочью. Двумя грязными двориками, имевшими вид какого-то дна не вовсе просохнувшего озера, надобно было дойти до маленькой двери, едва заметной в колоссальной стене; оттуда вела сырая, темная, каменная, с изломанными ступенями, бесконечная лестница, на которую отворялись, при каждой площадке, две-три двери; в самом верху, на финском небе, как выражаются петербургские остряки, нанимала комнатку немка-старуха; у нее паралич отнял обе ноги, и она полутрупом лежала четвертый год у печки, вязала чулки по будням и читала Лютеров перевод Библии по праздникам. Комнатка была шага в три; из них два казались бедной немке совершенной роскошью, и она отдавала их внаем, вместе с окном, от которого на пол-аршина возвышалась боковая, некрашеная кирпичная стена другого дома. Софи поговорила с немкой и наняла этот будуар; в этом будуаре было грязно, черно сыро и чадно; дверь отворялась в холодный коридор, по которому ползали какие-то дети, жалкие, оборванные, бледные, рыжие, с глазами, заплывшими золотухой; кругом все было битком набито пьяными мастеровыми; лучшую квартиру в этом этаже занимали швеи; никогда не было, по крайней мере днем, заметно, чтоб они работали, но по образу жизни видно было, что они далеки от крайности; кухарка, жившая у них, ежедневно раз гпять бегала в полпивную с кувшином, у которого был отбит нос… Все старания найти место были тщетны; добрая немка просила и хлопотала через единственную свою знакомую и соотечественницу, жившую у кого-то при детях, поразведать, нет ли какого места? Та обещала, но ничего не представилось. Софи решилась на последнее: она стала искать места горничной и нашла было одно; в цене сошлись, но особая примета в паспорте так удивила барыню, что она сказала: «Нет, голубушка, мне не по состоянию иметь горничную, которая говорит по-французски». Софи принялась шить белье. Начальница швей была очень довольна ее строчкой, заплатила ей почти все, что следовало по уговору, и звала к себе напиться чаю, вместо которого потчевала розовым пивом; она очень приглашала бедную девушку переехать к себе, но какой-то внутренний ужас остановил Софи, и она отказалась. Это очень оскорбило начальницу, и она, с гордостью захлопнув дверь, когда Софи ушла, сказала: «Сама придешь заискивать, дворянка какая важная! У нас немка из Риги живет не хуже тебя собой». Вечером начальница с колкой иронией отзывалась о бедной девушке комиссару, приходившему иногда вечером отдыхать в приятном обществе от дневных трудов, и так заинтересовала его, что он немедленно отправился в комнату немки и спросил ее:

— Что, фрау-мадам, как живете-можете? А? Пора бы ведь за ногами!

Немка, торопливо надевая чепчик, который всегда лежал возле нее для непредвидимых случаев, отвечала:

— Што телить, бог не перебирай!

— Ну, а где же эта Телебеевой девка, Софья Немчинова?

— Здесь, — отвечала Софи.

— Где это тебя угораздило выучиться по-французски, а? Плут-девка, должно быть; ну-тка, поговори по-французски.

Софи молчала.

— Видно, не умеешь? Ну, что-нибудь скажи-ка.

Софи молчала, и ее глаза были полны слез.

— Фрау-мадам, что, умеет она по-вашему?

— Ошень карашо!

— Небось как ты — вприсядку плясать… а что вы этак настоечки не держите? Я что-то прозяб.

— Нет, — отвечала немка.

— Плохо, ну, а это яблоко чье? (Яблоко это принесла знакомая немке старуха, и она его берегла с середы, чтоб закусить им Лютеров перевод Библии в воскресенье.)

— Мой, — отвечала немка.

— Ну, где тебе его раскусить; вот ведь француженка эта съест у тебя; ну, прощайте, — сказал комиссар, не сделавший, впрочем, никакого вреда, и, очень довольный собою, отправился, с яблоком в кармане, к швеям.

Томно, страшно тянулись дни; несчастная девушка потухала в этой грязи, оскорбляемая, унижаемая всем и всеми. Не будь она так развита, может быть, она сладила бы как-нибудь, нашлась бы и тут; но воспитание раскрыло в ней столько нежного, деликатного, что на нее все окружающее действовало в десять раз сильнее. Были минуты такого изнурения, такого онемения сил, что она, вероятно, упала бы глубоко, если б не была защищена от падения той грязной, будничной наружностью, под которой порок выказывался ей. Были минуты, в которые мысль принять яду приходила ей в голову, она хотела себя казнить, чтоб выйти из безвыходного положения; она тем блище была к отчаянию, что не могла себя ни в чем упрекнуть; были минуты, в которые злоба, ненависть наполняли и ее сердце; в одну из таких минут она схватила перо и, сама не давая себе отчета, что делает и для чего, написала, в каком-то торжественном гневе, письмо к Бельтову. Вот оно:

«Я не хочу удерживаться более. Пишу к вам, пишу для того только, чтоб иметь последнюю, может быть, радость в моей жизни — высказать вам все презренье мое; я охотно заплачу последние копейки, назначенные на хлеб, за отправку письма; я буду жить мыслию, что вы прочтете его. Ваши поступки со мной, в доме вашей тетушки, показали мне в вас безнравственного шалуна, бездушного развратника; я еще, разумеется, по неопытности, извиняла вас дурным воспитанием, кругом, в котором вы тратите свою жизнь; я извиняла вас тем, что мое странное положение вызывало вас на это. Но клевета, которой вы повершили их, гнусная, подлая клевета, показала мне всю меру вашей низости, даже не злодейства, а именно низости: вы решились из мести, из мелкого самолюбия погубить беззащитную девушку, налгать на нее. И за что? Разве вы в самом деле любили меня? Спросите свою совесть… Радуйтесь же, вам удалось: ваш приятель очернил меня здесь, меня выгнали, на меня смотрели с презрением, мои уши должны были слышать страшные оскорбления; наконец, я без куска хлеба, а потому выслушайте от меня, что я сама гнушаюсь вами, потому что вы мелкий, презренный человек; выслушайте это от горничной вашей тетки… Как мне приятно думать о бессильной злобе, о бешенстве с которыми вы будете читать эти строки; а ведь вы слывете за порядочного человека и, вероятно, послали бы пулю в лоб, если б кто-нибудь из равных вам сказал это».

Бельтов, проигравшийся в пух, раздосадованный, валялся перед чаем на диване, когда посланный в город привез ему, между прочим, и письмо от Софи. Он не знал ее руки; следовательно, не догадался по адресу, от кого письмо, и прехладнокровно развернул его. При первой строчке рука его задрожала, но он дочитал письмо спокойно, встал, бережно сложил его, потом сел на стул и обернулся головою к окну. Два часа просидел он в этом положении; чай давно уже стоял на столе, и он не хлебнул еще из своего стакана; трубка его давным-давно докурилась, и он не кликал казачка. Когда он совершенно пришел в себя, ему показалось, что он вынес тяжкую, долгую болезнь; он чувствовал слабость в ногах, усталь, шум в ушах; провел раза два рукою по голове, как будто щупая, тут ли она; ему было холодно, он был бледен как полотно; пошел в спальню, выслал человека и бросился на диван, совсем одетый… Через час он позвонил; а на другой день, чем свет, по плотине возле мельницы простучала дорожная коляска, и четверка сильных лошадей дружно подымала ее в гору; мельники, вышедшие посмотреть, спрашивали: «Куда это наш барин?» — «Да, говорят, в Питер», — отвечал один из них. А через полгода по тому же мосту простучала та же коляска назад: барин воротился с барыней. Сельский священник, ходивший поздравить Бельтова с приездом, возвратясь домой, с величайшим удивлением говорил жене:

— Попадья, а попадья! Знаешь, кто барыня? Вот; что была учительница-то, бывшая у Веры Васильевны от засекинской барыни. Чудны дела твои, господи!

— Что? Небось, — отвечала попадья, — приступу нет?

— Нет, не хочу лжесвидетельствовать, — отвечал священник, — словоохотна и благодушна.

Тетка, двое суток сердившаяся на Бельтова за его первый пассаж с гувернанткой, целую жизнь не могла забыть несносного брака своего племянника и умерла, не пуская его на глаза; она часто говорила, что дожила бы до ста лет, если б этот несчастный случай не лишил ее сна и аппетита. Видно, уж таково устройство женского сердца: сама Бельтова не могла изжить страшного опыта, перенесенного ею до замужества. Есть нежные и тонкие организации, которые именно от нежности не перерываются горем, уступают ему по видимому, но искажаются, но принимают в себя глубоко, ужасно глубоко испытанное и в продолжение всей жизни не могут отделаться от его влияния; выстраданный опыт остается какой-то злотворной материей, живет в крови, в самой жизни, и то скроется, то вдруг обнаруживается с страшной силой и разлагает тело. Именно такая натура была у Бельтовой: ни любовь мужа, ни благотворное влияние на него, которое было очевидно, не могли исторгнуть горького начала из души ее; она боялась людей, была задумчива, дика, сосредоточена в себе, была худа, бледна, недоверчива, все чего-то боялась, любила плакать и сидела молча целые часы на балконе. Года через три Бельтов простудился и дней в пять умер; тело его, изнуренное прежней жизнию, не имело достаточных сил победить горячку; он умер в беспамятстве. Софи поднесла к нему двухгодового мальчика: он дико взглянул на него, и испуганный ребенок потянулся ручонками в другую комнату. Удар этот сильно потряс Бельтову: она любила этого человека за его страстное раскаяние; она узнала благородную натуру из-за грязи, которая к ней пристала от окружавшего ее; она оценила его перемену; она любила даже иногда возвращавшиеся порывы буйного разгула и дикой необузданности избалованного нрава.

Со всей своей болезненной раздражительностью обратилась Бельтова, после потери мужа, на воспитание малютки; если он дурно спал ночью — она вовсе не спала; если он казался нездоровым — она была больна; словом, она им жила, им дышала, была его нянькой, кормилицей, люлькой, лошадкой. Но и эта судорожная любовь к сыну была

смешана у ней с черным началом ее души. Мысль, что она потеряет ребенка, почти беспрестанно вплеталась в мечты ее; она часто с отчаянием смотрела на спящего младенца и, когда он был очень покоен, робко подносила трепещущую руку к устам его. Но, вопреки внутреннему голосу матери, как она называла болезненные грезы свои, ребенок рос и, если не был очень здоров, то не был и болен. Она не выезжала из Белого Поля; мальчик был совершенно один и, как все одинокие дети, развился не по летам; впрочем, и помимо внешних влияний, в ребенке были видимы несомненные признаки редких способностей и энергического характера. Настало время учения. Бельтова отправилась с сыном в Москву, для того чтоб найти гувернера. У ее покойного мужа жил в Москве дядя, оригинал большой руки, ненавидимый всей роднёю, капризный холостяк, преумпый, препраздный и, в самом деле, пренесносный своей своеобычностью.

Не могу никак удержаться, чтоб не сказать несколько слов и об этом чудаке: меня ужасно занимают биографии всех встречающихся мне лиц. Кажется, будто жизнь людей обыкновенных однообразна, — это только кажется: ничего на свете нет оригинальнее и разнообразнее биографий неизвестных людей, особенно там, где нет двух человек, связанных одной общей идеей, где всякий молодец развивается на свой образец, без задней мысли — куда вынесет! Если б можно было, я составил бы биографический словарь, по азбучному порядку, всех, например, бреющих бороду, сначала; для краткости можно бы выпустить жизнеописания ученых, литераторов, художников, отличившихся воинов, государственных людей, вообще людей, занятых общими интересами: их жизнь однообразна, скучна; успехи, таланты, гонения, рукоплескания, кабинетная жизнь или жизнь вне дома, смерть на полдороге, бедность в старости, — ничего своего, а все принадлежащее эпохе. Вот поэтому-то я нисколько не избегаю биографических отступлений: они раскрывают всю роскошь мироздания. Желающий может пропускать эти эпизоды, но с тем вместе он пропустит и повесть. Итак, биография дядюшки.

Отец его — степной помещик, прикидывавшийся всегда разоренным, — ходил всю жизнь в нагольном тулупе, сам ездил продавать в губернский город рожь, овес и гречиху, причем, как водится, обмеривал и был за это проучаем иногда. Однако сына своего, несмотря на расстроенные обстоятельства, он отправил в гвардию и с ним — две четверки лошадей, двух поваров, камердинера, лакея-гиганта и четырех мальчиков как hors d'oeuvre. В Петербурге находили, что молодой офицер прекрасно воспитан, то есть имеет восемь лошадей, не меньшее число людей, двух поваров и проч. Все шло сначала как по маслу; будущий дядюшка сделался гвардии поручиком, как вдруг произошло важное событие в его жизни: оно случилось в семидесятых годах. В прекрасный зимний день ему вздумалось прокатиться в санях по Невскому; за Аничковым мостом его нагнали большие сани тройкой, поравнялись с ним, хотели обогнать, — вы знаете сердце русского: поручик закричал кучеру: «Пошел!» — «Пошел!» — закричал львиным голосом высокий, статный мужчина, закутанный в медвежью шубу и сидевший в других санях. Поручик обогнал. Задыхаясь от бешенства, при повороте господин в медвежьей шубе, державший в руке арапник, вытянул им поручичьего кучера, нарочно зацепив за барина:

— Не перегонять, бестия!

— Что вы, с ума сошли? — спросил офицер.

— Я хочу отучить вашего дурака, чтоб он не смел перегонять.

— Я ему велел скакать, милостивый государь, и вы понимаете, что я слишком уважаю мундир моей государыни, чтоб позволить запятнать его.

— Ба, какой молодчик, — да кто ты такой?

— Да ты кто? — спросил поручик, готовый броситься на него, как зверь.

Статный мужчина посмотрел на пего с презрением, показал ему свой кулак величиною о слоновью ногу и сказал:

— В рукопашный? Нет, брат, отстанешь! — Потом закричал кучеру! — Пошел!

— Ступай за ним! — вскрикнул поручик ввоему кучеру, прибавив слова два, до того всем известные, что их и в лексиконе не помещают.

Офицер, действительно, узнал, где живет этот господин, однако идти к нему раздумал; он решился написать ему письмо и начал было довольно удачно; но ему, как нарочно, помешали: его потребовал генерал, велел за что-то арестовать; потом его перевели в гарнизон Орской крепости. Орская крепость вся стоит на яшме и на благороднейших горнокаменных породах, тем не менее там очень скучно. Офицер взял с собою экземпляр Кребильоновых романов и с таким назидательным чтением отправился на границу Уфимской провинции. Года через три его опять перевели в гвардию, но он возвратился из Орской крепости, по замечанию знакомых, несколько поврежденным; вышел в отставку, потом уехал в имение, доставшееся ему после разоренного отца, который, кряхтя и ходя в нагольном тулупе, — для одного, впрочем, скругления, — прикупил две тысячи пятьсот душ окольных крестьян; там новый помещик поссорился со всеми родными и уехал в чужие край. Года три пропадал он в английских университетах, потом объехал почти всю Европу, минуя Австрию и Испанию, которых не любил; был в свявях со всеми знаменитостями, просиживал вечера с Боннэ, толкуя об органической жизни, и целые ночи с Бомарше, толкуя о его процессах за бокалами вина; дружески переписывался с Шлёцером, который тогда издавал свою знаменитую газету; ездил нарочно в Эрменонвиль к угасавшему Жан-Жаку и гордо проехал мимо Фернея, не заезжая к Вольтеру. Возвратившись лет через десять из путешествия, он попробовал пожить в Петербурге. Ему пришлась не по вкусу петербургская жизнь, и он поселился в Москве. Сначала находил он все странным; потом все его стали находить странным. И в самом деле, он как-то потерялся… стал читать одни медицинские книги, видимо, опускался, становился озлобленным, капризным, чужим всему и ко всему охладевшим…

К нему приехал около того времени, как Вельтова искала гувернера, рекомендованный одним из его швейцарских друзей женевец, желавший определиться в воспитатели. Женевец был человек лет сорока, седой, худощавый, с юными голубыми глазами и с строгим благочестием в лице. Он был человек отлично образованный, славно знал по-латыни, был хороший ботаник; в деле воспитания мечтатель с юношескою добросовестностью видел исполнение долга, страшную ответственность; он изучил всевозможные трактаты о воспитании и педагогии от «Эмиля» и Песталоцци до Базедова и Николаи; одного он не вычитал в этих книгах — что важнейшее дело воспитания состоит в приспособлении молодого ума к окружающему, что воспитание должно быть климатологическое, что для каждой эпохи, так, как для каждой страны, еще более для каждого сословия, а может быть, и для каждой семья, должно быть свое воспитание. Этого женевец не мог знать: он сердце человеческое изучал по Плутарху, он знал современность по Мальт-Брёну и статистикам; он в сорок лет без слез не умел читать «Дон-Карлоса», верил в полноту самоотвержения, не мог простить Наполеону, что он не освободил Корсики, и возил с собой портрет Паоли. Правда, и он имел горькие столкновения с миром практическим; бедность, неудачи крепко давили его, но он от этого еще менее узнал действительность. Печальный, бродил он по чудным берегам своего озера, негодующий на свою судьбу, негодующий на Европу, и вдруг воображение указало ему на север — на новую страну, которая, как Австралия в физическом отношении, представляла в нравственном что-то слагающееся в огромных размерах, что-то иное,

новое, возникающее… Женевец купил себе историю Левека, прочел Вольтерова «Петра 1-го» и через педелю пошел пешком в Петербург. При девственном взгляде своем на мир женевец имел какую-то незыблемую основательность, даже своего рода холодность. Холодный мечтатель неисправим: он останется на веки веков ребенком.

Бельтова познакомилась с ним у дяди; она едва смела надеяться найти идеального гувернера, который сложился у ней в фантазии, но женевец был близок к нему. Она предложила ему (по тогдашнему очень много) четыре тысячи рублей в год. Женевец сказал, что ему надобно только тцсячу двести, и согласился. Бельтова изъявила свое удивление, но он хладнокровно возразил, что он с нее берет не менее и не более, как сколько нужно, что он составил себе бюджет в восемьсот рублей да на непредвиденные случаи полагает четыреста; «к роскоши, — прибавил он, — я приучаться не хочу, а собирать капитал считаю делом бесчестным». И этому-то безумцу вверила мать воспитание будущего обладателя Белым Полем с пустошами и угодьями!

Один старик-дядя, всем на свете недовольный, был и этим недоволен, и в то время, как Бельтова была вне себя от радости, дядя (один из всех родных ее мужа, принимавший ее) говорил: «Ох, Софья, Софья! Все ты вздор делаешь; женевец остался бы преспокойно у меня чтецом; что он за гувернер? За ним надо еще няньку, да и что он сделает из Володи? — Швейцарца. Так уж лучше, по-моему, просто тебе везти его куда-нибудь в Вевей или Лозанну…» Софья видела в этих словах эгоизм старика, полюбившего женевца, и, не желая сердить его, молчала; а потом, спустя недели две, отправилась с Володей и с юношею в сорок лет назад в свое именье. Дело было весною; женевец начал с того, что развил в Володе страсть к ботанике; с раннего утра отправлялись они гербаризировать, и живой разговор заменял скучные уроки: всякий предмет, попавшийся на глаза, был темою, и Володя с чрезвычайным вниманием слушал объяснения женевца. После обеда сидели обыкновенно на балконе, выходившем в сад, и женевец рассказывал биографии великих людей, дальние путешествия, иногда позволял в виде награды читать самому Володе Плутарха… И время шло, и два выбора прошли, и пришло время везти Володю в университет. Матери что-то не хотелось; она в эти годы более сдружилась с кротким счастием, нежели во всю жизнь; ей было так хорошо в этой безмятежней, созвучной жизни, что она боялась всякой перемены: она так привыкла и так любила ждать на своем заветном балконе Володю с дальних прогулок; она так наслаждалась им, когда он, отирая пот с своего лица, раскрасневшийся и веселый, бросался к ней на шею; она с такой гордостью, с таким наслаждением смотрела на него, что готова была заплакать. В самом деле, вид Володи имел в себе что-то трогательное: он был так благороден, что-то такое прямое, открытое, доверчивое было в нем, что смотрящему на него становилось отрадно для себя и грустно за него. Как очевидно было, что на этого стройного, гибкого отрока с светлым взором жизнь не клала ни одного ярма, что чувство страха не посещало этой груди, что ложь не переходила через зти уста, что он совсем не знал, что ожидает его с летами. Женевец привязался к своему ученику почти так же, как мать; он иногда, долго смотрев на него, опускал глаза, полные слез, думая: «И моя жизнь не погибла; довольно, довольно сознания, что я способствовал развитию такого юноши, — меня совесть не упрекнет!»

Как все перепутано, как все странно на белом свете! Ни мать, ни воспитатель, разумеется, не думали, сколько горечи, сколько искуса они приготовляют Володе этим отшельническим воспитанием. Они сделали все, чтоб он не понимал действительности; они рачительно завесили от него, что делается на сером свете, и вместо горького посвящения в жизнь передали ему блестящие идеалы; вместо того чтоб вести на рынок и

показать жадную нестройность толпы, мечущейся за деньгами, они привели его на прекрасный балет и уверили ребенка, что эта грация, что это музыкальное сочетание движений с звуками — обыкновенная жизнь; они приготовили своего рода нравственного Каспара Гаузера. Таков был и женевец, — но какая разница — он, бедный ученый, готовый переходить с края на край земного шара с небольшой котомкой, с портретом Паоли, с своими заповедными мечтами и с привычкой довольствоваться малым, с презрением к роскоши и с готовностью на труд, — что же в нем было схожего с назначением Володи и с его общественным положением?..

Но как ни сдружилась Бельтова с своей отшельнической жизнию, как ни было больно ей оторваться от тихого Белого Поля, — она решилась ехать в Москву. Приехав, Бельтова повезла Володю тотчас к дяде. Старик, был очень слаб; она застала его полулежащего в вольтеровских креслах; ноги были закутаны шалями из козьего пуху; седые и редкие волосы длинными космами падали на халат; на глазах был зеленый зонтик.

— Ну, ты чем занимаешься, Владимир Петрович? — спросил старик.

— Готовлюсь в университет, дедушка, — отвечал юноша.

— В какой?

— В Московский.

— Что там делать? Я сам знаком был с Матеем, да и с Геймом, — ну, а все, кажется бы, в Оксфорд лучше; а, Софья? Право, лучше. А по какой части хочешь ты идти?

— По юридической, дедушка.

Дедушка сделал презрительную мину.

— Ну, что ж! Выучишь le droit naturel, le droit des gens, le code de Justinien, — потом что?

— Потом, — отвечала мать, улыбаясь, — потом в Петербург служить.

— Ха, ха, ха! Очень нужно знать Pandectes и все эти Closses! Или, может быть, вы, Владимир Петрович, в юрисконсульты собираетесь — ха, ха, ха! — в адвокаты? Делайте, как знаете, а по-моему, братец, иди по дохтурской части; я тебе библиотеку свою оставлю — большая библиотека, — я ее держал в хорошем порядке и все новое выписывал; медицинская наука теперь лучше всех; ну, ведь ближнему будешь полезен, из-за денег тебе лечить стыдно, даром будешь лечить, — а совесть-то спокойна.

Зная упорность мнений старика, пи Володя, ни мать его не возражали, но женевец не вытерпел и сказал:

— Конечно, поприще врача прекрасно, но я не знаю, отчего же Владимиру Петровичу не идти по гражданской части, когда всеми средствами стараются, чтоб образованные молодые люди шли в службу.

— Он выучит вас да кстати и меня; а я был в Женеве, когда он еще ползал на четвереньках, — отвечал капризный старик, — мой милый citoyen de Genève! А знаете ли вы, — прибавил он, смягчившись, — у нас в каком-то переводе из Жан-Жака было написано: «Сочинение женевского *мещанина* Руссо»… — и старик закашлялся от смеха.

Он тысячу раз рассказывал об этом переводе, и ему всегда казалось, что его слушатель еще не знает.

— Володя, — продолжал он уже в веселом расположении, — не пишешь ли ты виршей?

— Пробовал, дедушка, — отвечал Владимир, покраснев.

— Пожалуйста, не пиши, любезный друг; одни пустые люди пишут вирши; ведь это futilite, надобно делом заниматься.

Только последний совет Владимир и исполнил: стихов он не писал. Вступил же он не в оксфордский университет, а в московский, и не по медицинской части, а по этико-политической. Университет довершил воспитание Бельтова: доселе он был один, теперь

попал в шумную семью товарищества. Здесь он узнал свой удельный вес, здесь он встретил горячую симпатию юных друзей и, раскрытый ко всему прекрасному, стал усердно заниматься науками. Сам декан не был равнодушен к нему, находя, что ему недостает только покороче волос и побольше почтительного благонравия, чтоб быть отличным студентом. Кончился наконец и курс; раздали на акте юношам подорожные в жизнь. Бельтова стала собираться в Петербург; сына она хотела отправить вперед, потом, устроив свои дела, ехать за ним. Прежде нежели университетские друзья разбрелись по белу свету, собрались они у Бельтова, накануне его отъезда, все были еще полны надежд; будущность раскрывала свои объятия, манила, отчасти, как Клеопатра, предоставляя себе право казни за восторги. Молодые люди чертили себе колоссальные планы… Никто не подозревал, что один кончит свое поприще начальником отделения, проигрывающим все достояние свое в преферанс; другой зачерствеет в провинциальной жизни и будет себя чувствовать нездоровым, когда не выпьет трех рюмок зорной настойки перед обедом и не проспит трех часов после обеда; третий — на таком месте, на котором он будет сердиться, что юноши — не старики, что они не похожи на его экзекутора ни манерами, ни нравственностью, а все пустые мечтатели. В ушах Бельтова еще раздавались клятвы в дружбе, в верности мечтам, звуки чокающихся бокалов, — как женевец в дорожном платье будил его.

Мечтатель мой с восторгом ехал в Петербург. Деятельность, деятельность!.. Там-то совершатся его надежды, там-то он разовьет свои проекты, там узнает действительность — в этом средоточии, из которого выходит вся новая жизнь России! Москва, думал он, совершила свой подвиг, свела в себя, как в горячее сердце, все вены государства; она бьется за него; но Петербург, Петербург — это мозг России, он вверху, около него ледяной и гранитный череп; это возмужалая мысль империи… И ряд подобных мыслей и метафор тянулся в его голове без малейшей натяжки и с святою искренностью. А дилижанс между тем катился от станции до станции и вез, сверх наших мечтателей, отставного конноегерского полковника с седыми усами, архангельского чиновника, возившего с собою окаменелую шамаю, ромашку на случай расстройства здоровья и лакея, одетого в плешивый тулуп, да светло-белокурого юнкера, у которого щеки были темнее волос и который гордился своим влиянием на кондуктора. Для Владимира все эти лица имели новость, праздничный нид. Он добродушно смеялся над архангелогородцем, когда тот его угощал ископаемой шамаей, и улыбался над его неловкостью, когда он так долго шарил в кошельке, чтоб найти приличную монету отдать за порцию щей, что нетерпеливый полковник платил за него; он не мог довольно нарадоваться, что архангельский житель говорил полковнику «ваше превосходительство» и что полковник не мог решительно выразить ни одной мысли, не начав и не окончив ее словами, далеко не столь почтительными; ему даже был смешон неуклюжий старичок, служивший у архангельского проезжего или, правильнее, не умиравший у него в услужении и переплетенный в cuir russe, несмотря на холод. Юноша на все смотрел добродушно!

Приезд его в Петербург и первое появление в свете было чрезвычайно успешно. Он имел рекомендательное, письмо к одной старой девице с весом; старая девица, увидя прекрасного собою юношу, решила, что он очень образован и знает прекрасно языки. Её брат был начальником какой-то отрасли гражданского управления. Она представила ему Владимира. Тот поговорил с ним несколько минут и в самом деле был поражен его простою речью, его многосторонним образованием и пылким, пламенным умом. Он ему предложил записать его в свою канцелярию, сам поручил директору обратить на него особенное внимание. Владимир принялся рьяно за дела; ему понравилась бюрократия,

рассматриваемая сквозь призму 19 лет, — бюрократия хлопотливая, занятая, с нумерами и регистратурой, с озабоченным видом и кипами бумаг под рукой; он видел в канцелярии мельничное колесо, которое заставляет двигаться массы людей, разбросанных на половине земного шара, — он все поэтизировал.

Приехала наконец и Бельтова в Петербург. Женевец все еще жил у них; в последнее время он порывался несколько раз оставить Бельтовых, но не мог: он так сжился с этим семейством, так много уделил своего Владимиру и так глубоко уважал его мать, что ему трудно было переступить за порог их дома; он становился угрюм, боролся с собою, — он, как мы сказали, был холодный мечтатель и, следовательно, неисправим. Как-то вечером, вскоре после определения Владимира на службу, маленькая семья сидела у камина. Молодой Бельтов, у которого и самолюбие было развито, и юное сознание сил и готовности, — мечтал о будущем; у него в голове бродили разные надежды, планы, упования; он мечтал об обширной гражданское деятельности, о том, как он посвятит всю жизнь ей… и среди этих увлечений будущим пылкий юноша вдруг бросился на шею к женевцу. «И как мною обязан я тебе, истинный, добрый друг наш, — сказал он ему, — в том, что я сделался человеком, — тебе и моей матери я обязан всем, всем; ты больше для меня, нежели родной отец!» Женевец закрыл рукою глаза, потом посмотрел на мать, на сына, хотел что-то сказать, — ничего не сказал, встал и вышел вон из комнаты.

Пришедши в свой небольшой кабинет, женевец запер дверь, вытащил из-под дивана свой пыльный чемоданчик, обтер его и начал укладывать свои сокровища, с любовью пересматривая их: эти сокровища обличали как-то въявь всю бесконечную нежность этого человека: у него хранился бережно завернутый портфель; портфель этот, криво и косо сделанный, склеил для женевца двенадцатилетний Володя к Новому году, тайком от него, ночью; сверху он налепил выдранный из какой-то книги портрет Вашингтона; далее у него хранился акварельный портрет четырнадцатилетнего Володи: он был нарисован с открытой шеей, загорелый, с пробивающейся мыслию в глазах и с тем видом, полным упования, надежды, который у него сохранился еще лет на пять, а потом мелькал в редкие минуты, как солнце в Петербурге, как что-то прошедшее, не прилаживающееся ко всем прочим чертам: еще были у него серебряные математические инструменты, подаренные ему стариком дядей; его же огромная черепаховая табакерка, на которой было вытиснено изображение праздника при федерализации, принадлежавшая старику и лежавшая всегда возле него, — ее женевец купил после смерти старика у его камердинера. Уложив все эти драгоценности и еще кой-какие в том же роде, он отобрал книг пятнадцать, остальные отложил. Потом, ранним утром, вышел он осторожно в Морскую, призвал ломового извозчика, вынес с человеком чемоданчик и книги и поручил ему сказать, что он поехал дня на два за город, надел длинный сюртук, взял трость и зонтик, пожал руку лакею, который служил при нем, и пошел пешком с извозчиком; крупные слезы капали у него на сюртук.

Дня через два Бельтова, чрезвычайно удивленная поездкой женевца, но ожидавшая его возвращения, получила следующее письмо:

«Милостивая государыня! Вчера вечером я получил полную награду за труды мои. Поверьте, эта минута останется мне памятною; она проводит меня до конца жизни как утешение, как мое оправдание в моих собственных глазах, — но с тем вместе она торжественно заключила мое дело, она ясно показала, что учитель должен оставить уже собственному развитию воспитанника, что он уже скорее может повредить своим влиянием самобытности, нежели быть полезным. Человек должен целую жизнь воспитываться, но есть эпоха, после которой его не должно воспитывать. Да и что я могу сделать теперь для вашего сына — он опередил меня.

Давно собирался я оставить ваш дом, но моя слабость мешала мне, — мешала мне любовь к вашему сыну; если б

я не бежал теперь, я никогда бы не сумел исполнить этот долг, возлагаемый на меня честью. Вы знаете мои правила: я не мог уж и потому остаться, что считаю унизительным даром есть чужой хлеб и, не трудясь, брать ваши деньги на удовлетворение своих нужд. Итак, вы видите, что мне следовало оставить ваш дом. Расстанемся друзьями и не будем более говорить об этом.

Когда вы получите это письмо, я буду по дороге в Финляндию; оттуда я намерен отправиться в Швецию; буду путешествовать, пока проживу свои деньги; потом примусь опять за работу: силы у меня еще найдутся.

В последнее время я не брал у вас денег; не делайте опыта мне их пересылать, а отдайте половину человеку, который ходил за мною, а половину — прочим слугам, которым прошу вас дружески от меня поклониться: я подчас доставлял много хлопот этим бедным людям. Оставшиеся книги примет от меня в подарок Вольдемар. К нему я пишу особо.

Прощайте, прощайте, благороднейшая и глубоко уважаемая женщина! Да будет благословение на дош вашем; впрочем, чего желать вам, имея такого сына? Желаю одного: чтоб вы и он жили долго, очень долго Вашу руку».

Письмо его к Владимиру начиналось так:

«Не советы учителя, а советы друга будут последнею речью к тебе, Вольдемар. Ты знаешь, у меня не родных, которые мне были бы близки, да нет и посторонних ближе тебя, несмотря на безмерное расстояние лет. На твоем челе покоятся мои упования и надежды. Я стяжал, Вольдемар, право дать тебе дружеский совет уезжая. Иди дорогой, которую тебе указала судьба: она прекрасна; я не боюсь неудач и несчастий: они найдут в тебе отпор и силу, — я боюсь успехов и счастия ты стоишь на скользкой дороге. Служи делу, но смотри чтоб не вышло обратного: чтоб дело не служило тебе. Не смешай, Вольдемар, средства с целью. Одна любовь к ближнему, одна любовь к благу должна быть целью. Если любовь иссякнет в душе твоей, ты ничего не сделаешь, ты будешь обманывать себя; только любовь созидает прочное и живое, а гордость бесплодна, потом; что ей ничего не нужно вне себя…»

Всего письма не перепишешь: оно в три почтовых листа.

Так исчез в жизни Владимира этот светлый и добрый образ воспитателя. «Где-то наш monsieur Joseph?» — часто говаривали мать или сын, и они оба задумывались, и в воображении у них носилась кроткая, спокойная и несколько монашеская фигура, в своем длинном дорожном сюртуке, пропадающая за гордыми и не зависимыми норвежскими горами.

VII

Азаис доказывал (очень скучно), что все в мире навёрстывается; разумеется, чтоб верить этому, не надобно быть слишком строгим и придираться к мелочам. Основываясь на этом, мы просим позволения, в виде возмездия за потерю мсье Жозефа, представить Осипа Евсеича. Осип Евсеич был худенький, седенький старичок, лет шестидесяти, в потертом вицмундирном фраке, всегда с довольным видом и красными щеками. Он тридцать лет управлял четвертым столом в той канцелярии, куда поступил Бельтов; пятнадцать лет до того времени он был писцом в том же столе; наконец, остальные пятнадцать лет он провел на дворе канцелярии в почетном звании швейцарова сына, дававшем ему аристократический вес перед детьми всех сторожей. Этот человек всего лучше мог служить доказательством, что не дальние путешествия, не университетские лекции, не широкий круг деятельности образуют человека: он был чрезвычайно опытен в делах, в знании людей и к тому же такой дипломат, что, конечно, не отстал бы ни от Остермана, ни от Талейрана. От природы сметливый, он имел полную возможность и досуг развить и воспитать свой практический ум, сидя с пятнадцати лет в канцелярии; ему не мешали ни науки, пи чтение, ни фразы, ни несбыточные теории, которыми мы из книг развращаем воображение, ни блеск светской жизни, ни поэтические фантазии. Он, переписывая набело бумаги и рассматривая в то же время людей начерно, приобретал ежедневно более и более глубокое знание действительности, верное пониманье окружающего и верный такт поведения, спокойно проведший его между канцелярских омутов, неказистых, но тинистых и чрезвычайно опасных. Менялись главные начальники, менялись директоры, мелькали начальники отделения, а столоначальник четвертого стола оставался тот же, и все его любили, потому что он был необходим и потому что он тщательно скрывал это; все отличали его и отдавали ему справедливость, потому что он старался совершенно стереть себя; он все знал, все помнил по делам канцелярии; у него справлялись, как в архиве, и он не лез вперед; ему предлагал директор место начальника отделения — он остался верен четвертому столу; его хотели представить к кресту — он на два года отдалил от себя крест, прося заменить его годовым окладом жалованья, единственно потому, что столоначальник третьего стола мог позавидовать ему. Таков он был во всем: никогда никто из посторонних не жаловался на его лихоимство; никогда никто из сослуживцев не подозревал его в бескорыстии. Вы можете себе представить, сколько разных дел прошло в продолжение сорока пяти лет через его руки, и никогда никакое дело не вывело Осипа Евсеича из себя, не привело в негодование, не лишило веселого расположения духа; он отроду не переходил мысленно от делопроизводства на бумаге к действительному существованию обстоятельств и лиц; он на дела смотрел как-то отвлеченно, как на сцепление большого числа отношений, сообщений, рапортов и запросов, в известном порядке расположенных и по известным правилам разросшихся; продолжая дело в своем столе или *сообщая ему движение*, как говорят романтики-столоначальники, он имел в виду, само собою разумеется, одну очистку своего стола и оканчивал дело у себя как удобнее было: справкой в Красноярске, которая не могла ближе двух лет возвратиться, или заготовлением окончательного решения, или — это он любил всего больше — пересылкою дела в другую канцелярию, где уже другой столоначальник оканчивал по тем же правилам этот гранпасьянс; он до того был беспристрастен, что вовсе не думал, например, что могут быть лица, которые пойдут по миру прежде, нежели воротится справка из Красноярска, — Фемида должна быть слепа…

Вот этот-то почтеннейший сослуживец Владимира, месяца через три после его определения, окончив пересмотр перебеленных бумаг и задав нового корма перьям четырех писцов, вынул свою серебряную табакерку с чернью, поднес ее помощнику и прибавил:

— Попробуйте-ка, Василий Васильевич, ворошатинского; приятель привез из Владимира.

— Славный табак! — возразил помощник чрез минуту, которую он провел между жизнью и смертью, нюхнув большую щепотку сухой светло-зеленой пыли.

— Что? Забирает-с? — сказал столоначальник, очень довольный тем, что попортил носовую перепонку своего помощника.

— А что, Осип Евсеич, — спросил помощник, более и более приходивший в себя после паралича от ворошатинского табаку и утиравший синим платком глаза, нос, лоб и даже подбородок, — я вас еще не спросил, как вам понравился вновь определившийся молодой человек, из Москвы, что ли?

— Малый, кажется, бойкий; говорят, его сам определил.

— Да-с, точно, малый умный, отнять нельзя. Я вчера слышал, он спорил с Павл Павлычем; тот, знаете, не любит возражений, а Бельтов этот не в карман за словами ходит. Павла Павлыч начал сердиться; я, говорит, вам говорю так и так, — а Бельтов: да помилуйте, вот так и так. Порадовался я, со стороны глядя. После, как Бельтов отошел, Павла Павлыч, знаете, приятелю-то своему говорит: «Вот и держи в порядке канцелярию, как этаких насажают; да я, впрочем, сам университет, я его отучу своевольничать; мне дела нет, через кого определен».

— Эки дела! — сказал столоначальник, на которого рассказ, по-видимому, сделал тоже радостное впечатление. — Так кто бы ни определил, все равно? Ай да Павлыч! Ну, а что ж, он ему в глаза-то сказал это?

— Нет; под конец он что-то по-французски только ввернул. Признаюсь, как я посмотрел на эту выходку, так знаете, что пришло в голову: вот мы с Осипом Евсеичем будем все еще так же сидеть наперекоски у четвертого стола, а он переедет вон туда, — он показал на директорскую.

— Эх, голова, голова ты, Василий Васильич! — возразил столоначальник. — Умней тебя, кажется, в трех столах не найдешь, а и ты мелко плаваешь. Я, брат, на своем веку довольно видел материала, из которого выходят настоящие деловые люди да правители канцелярии: в этом фертике на волос нет того, что нужно. Что умен-то да рьян, — а надолго ли хватит и ума и рьяности его? Хочешь, об заклад на бутылку полынного, что он до столоначальника не дотянет?

— Пари держать не хочу, а я вчера читал бумаги, им писанные: прекрасно пишет, ей-богу; только в «Сыне отечества» удавалось читать такой штиль.

— Видел и я, — у меня глаз-то, правда, и стар, ну, да не совсем, однако, и слеп, — формы не знает, да кабы не энал по глупости, по непривычке — не велика беда: когда-нибудь научился бы, а то из ума не знает; у него из дела выходит роман, а главное-то между палец идет; от кого сообщено, достодолжное ли течение, кому переслать — ему все равно; это называется по-русски: вершки хватать; а спроси его — он нас, стариков, пожалуй, поучит. Нет, брат, дельного малого сразу узнаешь; я сначала сам было подумал: «Кажется, не глуп; может, будет путь; ну, не привык к службе, обойдется, привыкнет», — а теперь три месяца всякий день ходит и со всякой дрянью носится, горячится, точно отца родного, прости господи, режут, а он спасает, — ну, куда уйдешь с этим? Видали мы таких молодцов, не он первый, не он последний, все они только на словах выезжают: я-де

злоупотребления искореню, а сам не знает, какие злоупотребления и в чем они… Покричит, покричит, да так на всю жизнь чиновником *без всяких поручений* и останется, а сдуру над нами будет подсмеивать: это-де канцелярские чернорабочие; а чернорабочие-то все и делают; в гражданскую палату просьбу по своему делу надо подать — не умеет, давай чернорабочего… Трутни! — заключил красноречивый столоначальник.

В самом деле, столоначальник рассуждал основательно, и события, как нарочно, торопились ему на подтверждение. Бельтов вскоре охладел к занятиям канцелярии, стал раздражителен, небрежен. Управлявший канцеляриею призывал его к себе и говорил, как нежная мать, — не помогло. Его призвал министр и говорил, как нежный отец, так трогательно и так хорошо, что экзекутор, случившийся при этом, прослезился, несмотря на то, что его нелегко было тронуть, что знали все сторожа, служившие под его начальством, — и это не помогло. Бельтов начал до того забываться, что оскорблялся именно этим родственным участием посторонних, именно этими отеческими желаниями его исправить. Словом, через три месяца после красноречивого разговора столоначальника с его помощником Осип Евсеич гневался на одного писца, что-то недоумевавшего, и приговаривал:

— Да когда же ты научишься? Ну, сколько раз приходилось тебе писать, и всякий раз для тебя всю черновую составь; все оттого, что не служба на уме, а в сюртучке по Адмиралтейскому бульвару шляться за мамзелями, — не раз видал… Ну, пиши: «И для свободного в Российской империи прожития дан ему, отставному губернскому секретарю Бельтову, сей паспорт, за надлежащим подписанием и с приложением казенной печати…» Кончил? давай! — И он бормотал: — Из двор… душ… уезда… курс… штат… восемнадцатого сентября… православного… хорошо! — И внизу Осип Евсеич скрепил мельчайшим шрифтом на самом краешке листа. «Поди же, снеси сейчас и подай, а когда подпишет — в регистратуру; вот печать поставили бы сбоку, видишь, где написано: „у сего паспорта“. Он завтра аа ним придет».

— Что, Василий Васильич, не хотели на полынную-то держать, а вот оно теперь бы и зашли. Нечего сказать, проворен!

— Ровно четырнадцать лет и шесть месяцев не дослужил до пряжки, — остроумно заметил помощник.

Столоначальник и за ним весь стол его расхохотались.

Этим олимпическим смехом окончилось служебное поприще доброго приятеля нашего, Владимира Петровича Бельтова. Это было ровно за девять лет до того знаменитого дня, когда в то самое время, как у Веры Васильевны за столом подавали пудинг, раздался колокольчик, — Максим Иванович не вытерпел и побежал к окну. Что же делал Бельтов в продолжение этих десяти лет?

Все или почти все.

Что он сделал?

Ничего или почти ничего.

Кто не знает старинной приметы, что дети, слишком много обещающие, редко много исполняют. Отчего это? Неужели силы у человека развиваются в таком определенном количестве, что если они потребятся в молодости, так к совершеннолетию ничего не останется? Вопрос премудреный. Я его не умею и не хочу разрешать, но думаю, что решение его надобно скорее искать в атмосфере, в окружающем, в влияниях и соприкосновениях, нежели в каком-нибудь нелепом психическом устройстве человека. Как бы то ни было, но примета исполнилась над головой Бельтова, Бельтов о юношеской запальчивостью и с неосновательностью мечтателя сердился на обстоятельства и с

внутренним ужасом доходил во всем почти до того же последствия, которое так красноречиво выразил Осип Евсеич: «а делают-то одни чернорабочие», и делают оттого, что барсуки и фараоновы мыши не умеют ничего делать и приносят на жертву человечеству одно желание, одно стремление, часто благородное, но почти всегда бесплодное…

Одним, если не прекрасным, то совершенно петербургским утром, — утром, в котором соединились неудобства всех четырех времен года, мокрый снег хлестал в окна и в одиннадцать часов утра еще не рассветало, а, кажется, уж смеркалось, — сидела Бельтова у того же камина, у которого была последняя беседа с женевцем; Владимир лежал на кушетке с книгою в руке, которую читал и не читал, наконец, решительно не читал, а положил на стол и, долго просидев в ленивой задумчивости, сказал:

— Маменька, знаете, что мне в голову пришло? Ведь дядюшка-то был прав, советуя мне идти по медицинской части. Как вы думаете, не заняться ли мне медициной?

— Как хочешь, мой друг, — отвечала с обычной кротостью Бельтова, — одно страшно, Володя, надобно будет тебе подходить к больным, а есть прилипчивые болезни.

— Маменька, — сказал Владимир, нежно взяв ее руку и улыбаясь, — какой вы эгоист, преисполненный любви! Жить сложа руки, конечно, безопаснее; но я полагаю, что на бездействие надобно так же иметь призвание как и на деятельность. Не всякий, кто захочет, может ничего йе делать.

— Попробуй, — отвечала мать.

На другой день утром Владимир явился в зале анатомического театра и с тем усердием, с которым принялся за дела канцелярии, стал заниматься анатомией. Но он в эту аудиторию не принес той чистой любви к науке, которая его сопровождала в Московском университете; как он ни обманывал себя, но медицина была для него местом бегства: он в нее шел от неудач, шел от скуки, от нечего делать; много легло уже расстояния между веселым студентом и отставным чиновником, дилетантом медицины. Одаренный быстрым умом; он очень скоро наткнулся в новых занятиях своих на те вопрооы, на которые медицина учено молчит и от разрешений которых зависит все остальное. Он остановился перед ними и хотел их взять приступом, отчаянной храбростью мысли, — он не обратил внимания на то, что разрешения эти бывают плодом долгих, постоянных, неутомимых трудов: на такие труды у него не было способности, и он приметно охладел к медицине, особенно к медикам; он в них нашел опять своих канцелярских товарищей; ему хотелось, чтоб они посвящали всю жизнь разрешению вопросов, его занимавших; ему хотелось, чтоб они к кровати больного подходили как к высшему священнодействию, — а им хотелось вечером играть в карты, а им хотелось практики, а им было недосуг.

«Нет, — думал Владимир, — нет, не хочу быть доктором! Что я за бессовестный человек, что осмелюсь лечить больного при современной разноголосице во всех физиологических вопросах. Все практическое в сторону! Что я за чиновник, что я за ученый? Я… я… не смею признаться, я — артист!» Срисовывая изображения черепа, Бельтов догадался, что он художник. Вздумано — сделано. Нижние стекла у окон его кабинета завесились непроницаемыми тканями, возле двух черепов явилась небольшая Венера; везде выросли, как из земли, гипсовые головы с выражением ужаса, стыда, ревности, доблести — так, как их понимает ученое ваяние, то есть так, как эти страсти не являются в натуре. Владимир перестал стричь волосы и ходил целое утро в блузе, этот костюм пролетария ему сшил аристократ-портной на Невском проспекте. Владимир стал ходить всякую неделю в Эрмитаж и усердно сидеть за мольбертом… Мать входила иногда на цыпочках, боясь помешать будущему Тициану в его занятиях. Он начинал

поговаривать об Италии и об исторической картине в современном и сильном вкусе: он обдумывал встречу Бирона, едущего из Сибири, с Минихом, едущим в Сибирь; кругом зимний ландшафт, снег, кибитки и Волга… Само собою разумеется, что и живопись не совсем удовлетворила Бельтова: в нем недоставало довольства занятием; вне его недоставало той артистической среды, того живого взаимодействия и обмена, который поддерживает художника. Ничто не вызывало его деятельнести; она была вовсе не нужна и обусловливалась только его личным желанием. Но всего более мешали ему прежние мечты о службе, о гражданской деятельности. Ничто в мире не заманчиво так для пламенной натуры, как участие в текущих делах, в этой воочию совершающейся истории; кто допустил в свою грудь мечты о такой деятельности, тот испортил себя для всех других областей; тот, чем бы ни занимался, во всем будет гостем: его безусловная область не там — он внесет гражданский спор в искусство, он мысль свою нарисует, если будет живописец, пропоет, если будет музыкант. Переходя в другую сферу, он будет себя обманывать, так, как человек, оставляющий свою родину, старается уверить себя, что все равно, что его родина везде, где он полезен, — старается… а внутри его неотвязный голос зовет в другое место и. напоминает иные песни, иную природу. Темно и отчетливо бродили эти мысли по душе Бельтова, и он с завистью смотрел на какого-нибудь германца, живущего в фортепьянах, счастливого Бетховеном и изучающего современность ex fpntibus, то есть по древним писателям.

К тому же длинные петербургские вечера, в которые нельзя рисовать… Эти вечера Владимир проводил очень часто у одной вдовы, страстной любительницы живописи. Вдова была молода, хороша собой, со всей привлекательностью роскоши и высокого образования; у нее-то в доме Владимир робко проговорил первое слово любви и смело подписал первый вексель на огромную сумму, проигранную им в тот счастливый вечер, когда он, рассеянный и упоенный, играл, не обращая никакого внимания на игру; да и до игры ли было? Против него сидела она, и он так ясно читал в ее глазах любовь, вниманье!

Не буду вам теперь рассказывать всю историю моего героя; события ее очень обыкновенвы, но они как-то не совсем обыкновенно отражались в его душе. Скажу вкратце, что после опыта любви, на который потратилось много жизни, и после нескольких векселей, на которые потратилось довольно много состояния, он уехал в чужие край — искать рассеянья, искать впечатлений, занятий и проч., а его мать, слабая и состарившаяся не по летам, поехала в Белое Поле поправлять бреши, сделанные векселями, да уплачивать годовыми заботами своими минутные увлечения сына, да копить новые деньги, чтоб Володя на чужой стороне ни в чем не нуждался. Все это для Бельтовой было совсем не легко; она хотя любила сына, но не имела, тех способностей, как засекинская барыня, — всегда готовая к снисхождению, всегда позволявшая себя обманывать не по небрежности, не по недогадке, а по какой-то нежной деликатности, воспрещавшей ей обнаружить, что она видит истину. Крестьяне Белого Поля молили бога за свою барыню и платили оброк на славу. Бельтов писал часто к матери, и тут бы вы могли увидеть, что есть другая любовь, которая не так горда, не так притязательна, чтоб исключительно присвоивать себе это имя, но любовь, не охлаждающаяся ни летами, ни болезнями, которая и в старых летах дрожащими руками открывает письмо и старыми глазами льет горькие слезы на дорогие строчки. Письма сына были для Бельтовой источником жизни; они ее подкрепляли, тешили, и она сто раз перелистывала каждое письмо. А письма его были грустны, хотя и полны любви, хотя и много было утаено от слабого сердца матери. Видно было, что скука снедает молодого человека, что роль зрителя, на которую обрекает себя путешественник, стала надоедать ему: он досмотрел

Европу — ему ничего не оставалось делать; все возле были заняты, как обыкновенно люди дома бывают заняты; он увидел себя гостем, которому предлагают стул, которого осыпают вежливостью, но в семейные тайны не посвящают, которому, наконец, бывает пора идти к себе. Но при одном воспоминании петербургских похождений на Бельтова находила хандра, и он, не зная зачем, переезжал из Парижа в Лондон. За несколько месяцев перед приездом Бельтова мать получила от него письмо из Монпелье; он извещал, что едет в Швейцарию, что несколько простудился в Пиренейских горах и потому пробудет еще дней пять в Монпелье; обещал писать, когда выедет; о возвращении в Россию ни слова. «Несколько простудился», — и мать уже начала тревожиться и ждать письма с дороги. Но проходит две недели — письма нет; проходит около месяца — письма нет. Бедная женщина, она была лишена даже последнего утешения в разлуке — возможности писать с достоверностью, что письмо дойдет, — и, не зная, дойдут ли, для одного облегчения, послала два письма в Париж confiees aux soius de l'ambassade russe. Ложась спать, она всякий раз приказывала Дуне пораньше отправить кучера верхом в уездный город справиться, нет ли письма, хотя она и очень хорошо знала, что почта приходит в неделю раз. Уездный почтмейстер был добрый старик, душою преданный Бельтовой; он всякий раз приказывал ей доложить, что писем нет, что как только будут, он сам привезет или пришлет с эстафетой, — и с каким тупым горем слушала мать этот ответ после тревожного ожидания в продолжение нескольких часов! Мысль ехать самой начинала мелькать в голове ее; она хотела уже послать за соседом, отставным артиллерии капитаном, к которому обращалась со всеми важными юридическими вопросами, например, о составлении учтивого объяснения, почему нет запасного магазина, и т. п.; она хотела теперь выспросить у него, где берут заграничные паспорты, в казенной палате или в уездном суде… И тем скучнее шли дни ожидания, что на дворе была осень, что липы давно пожелтели, что сухой лист хрустел под ногами, что дни целые дождь шел, будто нехотя, но беспрестанно. Как-то раз под вечер девушка, ходившая за Бельтовой, попросилась у нее идти ко всенощной.

— Ступай; да что такое завтра?

— Неужели вы изволили забыть, что завтра семнадцатого сентября, день вашего ангела, богомудрой Софии и дщерей ее — Любви, Веры и Надежды!

— Ступай, Дуня, да помолись и об Володе, — сказала Бельтова, и слёзы навернулись на глазах ее.

Человек до ста лет — дитя, да если бы он и до пятисот лет жил, все был бы одной стороной своего бытия дитя. И жаль, если б он утратил эту сторону, — она полна поэзии. Что такое именины? почему в этот день ярче чувствуется горе и радость, нежели накануне, нежели потом? Не знаю почему, а оно так. Не только именины, а всякая годовщина сильно потрясает душу. «Сегодня, кажется, третье марта», — говорит один, боясь пропустить срок продажи имения, с публичного торга. — «Третье марта, да, третье марта», — отвечает другой, и его дума уж за восемь лет; он вспоминает первое. свидание после разлуки, он вспоминает все подробности и с каким-то торжественным чувством прибавляет: «Ровно восемь лет!», И он боится осквернить этот день, и он чувствует, что это праздник, и ему не приходит на мысль, что 13 марта будет ровно восемь лет и десять дней и что всякий день своего рода годовщина. Так было с Бельтовой. Мысль разлуки, мысль о том, что нет писем, стала горче, стала тягостнее при мысли, что Володя не придет поздравить ее, что он, может быть, забудет и там ее поздравить… Она впадала в задумчивую мечтательность: то воображению ее представлялось, как, лет за пятнадцать, она в завтрашний день нашла всю чайную комнату убранною цветами; как Володя не

пускал ее туда, обманывал; как она догадывалась, но скрыла от Володи; как мсье Жозеф усердно помогал Володе делать гирлянды; потом ей представлялся Володя на Монпелье, больной, на руках жадного трактирщика, и тут она боялась дать волю воображению идти далее и торопилась утешить себя тем, что, может быть, мсье Жозеф с ним встретился там и остался при нем. Он так нежен, так добр, так любит Володю, он за ним будет ходить, он строго исполнит приказы доктора, он, будет смотреть на него, когда он уо. нет. Да зачем же Жозеф в Монпелье? Что же? Володя мог его выписать как друга… Но… И ей опять становилось невыносимо тяжело, и ряд мрачных картин, переплетенных с светлыми воспоминаниями, тянулся в душе ее всю ночь.

На другой день разные хлопоты заняли и, насколько могли, развлекли Бельтову. С раннего утра передняя была полна аристократами Белого Поля; староста стоял впереди в синем кафтане и держал на огромном блюде страшной величины кулич, за которым он посылал десятского в уездный город; кулич этот издавал запах конопляного масла, готовый остановить всякое дерзновенное покушение на целость его; около него, по бортику блюда, лежали апельсины и куриные яйца; между красивыми и величавыми головами наших бородачей один только земский отличался костюмом и видом: он не только был обрит, но и порезан в нескольких местах, оттого что рука его (не знаю, от многого ли письма или оттого, что он никогда не встречал прелестное сельское утро не выпивши, на мирской счет, в питейном доме кружечки сивухи) имела престранное обыкновение трястись, что ему значительно мешало отчетливо нюхать табак и бриться; на нем был длинный синий сюртук и плисовые панталоны в сапоги, то есть он напоминал собою известного зверя в Австралии, орниторинха, в котором преотвратительно соединены зверь, птица и амфибия. На дворе жалобпо кричал время от времени юный теленок, поенный шесть недель молоком: это была гекатомба, которую тоже приготовили крестьяне барыне для дня *менин*. Бельтова не умела с достодолжной важностью делать выходы она это знала сама и всегда как-то терялась в этих случаях. После выхода — обедня; служили молебен; в самое это время приехал артиллерийский капитан: на этот раз он явился не юрисконсультом, а в прежнем воинственном виде; когда шли из церкви домой, Бельтова была очень испугана каким-то треском. Сосед привез с собою в кибитке маленький фальконет и велел выстрелить из него в ознаменование радости; легавая собака Бельтовой, случившаяся при этом, как глупое животное, никак не могла понять, чтоб можно было без цели стрелять, и исстрадалась вся, бегая и отыскивая зайца или тетерева. Воротились домой. Бельтова велела подать закуску, — вдруг раздался звонкий колокольчик, и отличнейшая почтовая тройка летела через мост, загнула за гору — исчезла и минуты две спустя показалась вблизи; ямщик правил прямо к господскому дому и, лихо подъехав, мастерски осадил лошадей у подъезда. Сам старик почтмейстер (это был он), вылезая из кибитки, не вытерпел, чтоб не сказать ямщику:

— Ай да Богдашка, собака, истинно собака, можно чести приписать.

Богдашка был, разумеется, доволен комплиментами почтмейстера, щурил правый глаз и поправлял шляпу, приговаривая:

— Уж если нам вашему благородию не сусердетвовать, так уж это — хуже не надо.

С торжественно-таинственным видом, с просасывающимся довольством во всех чертах вошел почтмейстер в гостиную и отправился учинить целование руки.

— Честь имею, матушка Софья Алексеевна, поздравить с высокоторжественным днем ангела и желаю вам доброго здравия. Здравствуйте, Свиридов Васильевич! (Это относилось к капитану.)

— Василью Логиновичу наше почтение, — отвечал артиллерист.

Василий Логинович продолжал:

— А я-с для вашего ангела осмелился подарочен привезти вам; не взыщите — чем богат, тем и рад; подарок не дорогой — всего портовых и страховых рубль пятнадцать копеек, весовых восемь гривен; вот вам, матушка, два письмеца от Владимира Петровича: одно, кажись, из Монтраше, а другое из Женевы, по штемпелю судя. Простите, матушка, грешный человек: недельки две первое письмецо, да и другое деньков пять, поберег их к нынешнему дню; право, только и думал: утешу, мол, Софью Алексеевну для тезоименитства, так утешу.

Софья Алексеевна поступила с почтмейстером точно так, как знаменитый актер Офрен — с Тераменовым рассказом: она не слушала всей части речи после того, как он вынул письма; она судорожной рукой сняла пакет, хотела было тут читать, встала и вышла вон.

Почтмейстер был очень доволен, что чуть не убил Бельтову сначала горем, потом радостью; он так добродушно потирал себе руки, так вкушал успех сюрприза, что нет в мире жестокого сердца, которое нашло бы в себе силы упрекнуть его за эту шутку и которое бы не предложило ему закусить. На этот раз последнее сделал сосед:

— Вот, Василий Логиныч, оконтузили письмом-то, одолжили, нечего сказать! Однако, знаете, пока Софья Алексеевна беседует с письмами, оно ведь не мешает и употребить; я очень рано встаю.

Они употребили.

…Одно письмо было с дороги, другое из Женевы. Оно оканчивалось следующими строками: «Эта встреча, любезная маменька, этот разговор потрясли меня, — и я, как уже писал вначале, решился возвратиться и начать службу по выборам. Завтра я еду отсюда, пробуду с месяц на берегах Рейна, оттуда — прямо в Тауроген, не останавливаясь… Германия мне страшно надоела. В Петербурге, в Москве я только повидаюсь с знакомыми и тотчас к вам, милая матушка, к вам в Белое Поле».

— Дуня, Дуня, подай поскорее календарь! Ах, боже мой, ты где его ищешь, — какая бестолковая! Вот он.

И Вельтова бросилась сама за календарем и начала отсчитывать, рассчитывать, переводить числа с нового Стиля на старый, со старого на новый, и при всем этом она уже обдумывала, как учредить комнату… ничего не забыла, кроме гостей своих; по счастию, они сами вспомнили о себе и употребили *по второй*.

— Странное и престранное дело! — продолжал председатель. — Кажется, жизнь резиденции представляет столько увеселительных рассеяний, что молодому человеку, особенно безбедному, трудно соскучиться.

— Что делать! — отвечал Бельтов с улыбкой в встал, чтоб проститься.

— А впрочем, поживите и с нами. Если не встретите здесь того блеска и образования, то, наверное, найдете добрых и простых людей, которые гостеприимно примут вас в среде своих мирных семейств.

— Это уж конечно-с, — прибавил развязный советник с Анной в петлице, — наш городок-с чего другого нет, а насчет гостеприимства — Москвы уголок-с!

— Я в этом уверен, — сказал Бельтов, откланиваясь.

I

Вы знаете уже сильную и продолжительную сенсацию, которую произвел Бельтов на почтенных жителей NN; позвольте же сказать и о сенсации, которую произвел город на почтенного Бельтова. Он остановился в гостинице «Кересберг», названной так, вероятно, не в отличие от других гостиниц, потому что она одна и существовала в городе, но скорее из уважения к городу, который вовсе не существовал. Гостиница эта была надежда и отчаяние всех мелких гражданских чиновников в NN, утешительница в скорбях и место разгула в радостях; направо от входа, вечно на одном месте, стоял бесстрастный хозяин за конторкой и перед ним его приказчик в белой рубашке, с окладистой бородой и с отчаянным пробором против левого глаза; в этой конторке хоронилось, в первые числа месяца, больше половины жалованья, полученного всеми столоначальниками, их помощниками и помощниками их помощников (секретари редко ходили, по крайней мере, на свой счет; с секретарства у чиновников к страсти получать присовокупляется страсть хранить, — они делаются консерваторами). Хозяин серьезно и важно пощелкивал на счетах; проклятая конторка приподнимала свою верхнюю доску, поглощала синенькие и целковые, выбрасывая за них гривенники, пятаки и копейки, потом щелкала ключом — и деньги были схоронены. Только в двух случаях притворялась она мертвою, когда к ее страшной загородке являлся Яков Потапыч — частный пристав, разумеется, для того, чтоб отдать свой долг… Иногда заезжали в гостиницу и советники поиграть на бильярде, выпить пуншу, откупорить одну, другую бутылку, словом, погулять на холостую ногу, потихоньку от супруги (холостых советников так же не бывает, как женатых аббатов), — для достижения последнего они недели две рассказывали направо и налево о том, как кутнули. Мелкие чиновники, при появлении таких сановников, прятали трубки свои за спину (но так, чтоб было заметно, ибо дело состояло не в том, чтоб спрятать трубку, но чтоб показать достодолжное уважение), низко кланялись и, выражая мимикой большое смущение, уходили в другие комнаты, даже не окончивши партии на бильярде, — на бильярде, на котором, в часы, досужие от карт, корнет Дрягалов удивлял поразительно смелыми шарами и невероятными клопштосами..

Содержатель, разбогатевший крестьянин из подгороднего села, знал, что такое Бельтов и какое именьице у него, а потому он тотчас решился отдать ему одну из лучших комнат трактира, — комната эта только давалась особам важным, генералам, откупщикам, — и потому повел его в другие. Другие были до такой степени черны и гадки, что, когда хозяин привел Бельтова в ту, которую назначил, и заметил: «Кабы эта была не проходная, я бы с нашим удовольствием», — тогда Бельтов стал с жаром убеждать, чтоб он уступил ему ее; содержатель, тронутый его красноречием, согласился и цену взял не обидную себе. Учтивость к Бельтову усугубил почтенный содержатель грубостью всем прочим посетителям. Комната была действительно проходная; он запер дверь и отрезал парадное сообщение между залой и бильярдной, предоставив желающим ходить через кухню. Большая часть посетителей молча подверглась этому испытанию, так, как прежде подвергалась всем прочим испытаниям, которыми судьба считала за нужное награждать их; впрочем, нашлись и такие, которые явно кричали против грубо пристрастного поступка содержателя. Один заседатель, лет десять тому назад служивший в военной службе, собирался сломить кий об спину хозяина и до того оскорблялся, что логически присовокуплял к ряду энергических выражений: «Я сам дворянин; ну, черт его возьми, отдал бы генералу какому-нибудь, — что тут делать станешь, — а то молокососу, видите,

из Парижа приехал; да позвольте спросить, чем я хуже его, я сам дворянин, старший в роде, медаль тысяча восемьсот двенадцатого…» — «Да полно ты, полно, горячая голова!» — говорил ему корнет Дрягалов, имевший свои виды насчет Бельтова. Как бы то ни было, но хозяин, молча и отшучиваясь, с апатической твердостью, с уступчивой непреклонностью русского купца поставил на своем. Комната, до которой достигнул Бельтов с оскорблением щекотливого point d'honneur многих, могла, впрочем, нравиться только после четырех ужасных нумеров, которыми ловко застращал хозяин приезжего; в сущности, она была грязна, неудобна и время от времени наполнялась запахом подожженного масла, который, переплетаясь с постоянной табачной атмосферой, составлял нечто такое, что могло, бы произвесть тошноту у иного эскимоса, взлелеянного на тухлой рыбе.

Первая суета приезда улеглась. Каретные вещи, сак, шкатулка были принесены, и за всеми тяжестями явился, наконец, Григорий Ермолаевич, камердинер Бельтова, с последними остатками путевых снадобий — с кисетом, с неполною бутылкой бордо, с остатками фаршированной индейки; разложив все принесенное по столам и стульям, камердинер отправился выпить водки в буфет, уверяя буфетчика, что он в Париже привык, по окончании всякого дела, выпивать большой птивер (так, как в России начинают тем же самым все дела). Толпа чиновников, желавших из самого источника узнать подробности о проезжем, облепила его, но нельзя не заметить, что камердинер не очень поддавался и обращался с ними немного свысока; он жил несколько лет за границей и гордо сознавал это достоинство. Бельтов, между тем, был один; посидевши недолго на диване, он подошел к окну, из которого видно было полгорода. Прелестный вид, представившийся глазам его, был общий, губернский, форменный: плохо выкрашенная каланча, с подвижным полицейским солдатом наверху, первая бросилась в глаза; собор древней постройки виднелся из-за длинного и, разумеется, желтого здания присутственных мест, воздвигнутого в известном штиле; потом две-три приходские церкви, из которых каждая представляла две-три эпохи архитектуры: древние византийские стены украшались греческим порталом, или готическими окнами, или тем и другим вместе; потом дом губернатора с сенями, украшенными жандармом и двумя-тремя просителями из бородачей; наконец, обывательские дома, совершенно те же, как во всех наших городах, с чахоточными колоннами, прилепленными к самой стене, с мезонином, не обитаемым зимою от итальянского окна во всю стену, с флигелем, закопченным, в котором помещается дворня, с конюшней, в которой хранятся лошади; дома эти, как водится, были куплены вежливыми кавалерами на дамские имена; немного наискось тянулся гостиный двор, белый снаружи, темный внутри, вечно сырой и холодный; в нем можно было все найти — коленкоры, кисеи, пиконеты, — все, кроме того, что нужно купить. Несколько тронутый картиной, развернувшейся перед его глазами, Бельтов закурил сигару и сел у окна; на дворе была оттепель, — оттепель всегда похожа на весну; вода капала с крыш, по улицам бежали ручьи талого снега. Будто чувствовалось, что вот-вот и природа оживет из-подо льда и снега, по это так чувствовалось новичку, который суетно надеялся в первых числах февраля видеть весну в NN; улица, видно, знала, что опять придут морозы, вьюги и что до 15/27 мая не будет признаков листа, она не радовалась; сонное бездействие царило на ней; две-три грязные бабы сидели у стены гостиного двора с рязаныо и грушей; они, пользуясь тем, что пальцы не мерзнут, вязали чулки, считали петли и изредка только обращались друг к другу, ковыряя в зубах спицами, вздыхая, зевая и осеняя рот свой знамением креста. Недалеко от них старик купец, лет под семьдесят, с седою бородой, в высокой собольей шапке, спал сладким сном на складном стуле. Изредка сидельцы

перебегали из лавки в лавку; некоторые начинали запирать их. Никто, кажется, ничего не покупал; даже почти никто не ходил по улицам; правда, прошел квартальный надзиратель, завернувшись в шинель с меховым воротником, быстрым деловым шагом, с озабоченным видом и с бумагой, свернутой в трубку; сидельцы сняли почтительно шляпы, но квартальному было не до них. Потом проехала какая-то коляска странной формы, похожей на тыкву, из которой вырезана ровно четверть; тыкву эту везли четыре потертых лошади; гайдук-форейтор и седой сморщившийся кучер были одеты в сермягах, а сзади трясся лакей в шипели с галунами цвету вер-антик. В тыкве сидела другая тыква — добрый и толстый отец семейства и помещик, с какой-то специальной ландкартой из синих жил на носу и щеках; возле неразрывная спутница его жизни, не похожая на тыкву, а скорее на стручок перцу, спрятанный в какой-то тафтяный шалаш, надетый вместо шляпки; против них приятный букет из сельских трех граций, вероятно, сладостная надежда маменьки и папеньки, сладостная, но исполняющая заботой их нежные сердца. Проехал и этот подвижный огород… Опять настала тишина… Вдруг из переулка раздалась лихая русская песня, и через минуту трое бурлаков, в коротеньких красных рубашках, с разукрашенными шляпами, с атлетическими формами и с тою удалью в лице, которую мы все знаем, вышли обнявшись на улицу; у одного была балалайка, не столько для музыкального топа, сколько для тона вообще; бурлак с балалайкой едва удерживал свои ноги; видно была по движению плечей, как ему хочется пуститься вприсядку, — за чем же дело? А вот за чем: из-под земли, что ли, или из-под арок гостиного двора явился какой-то хожалый или будочник с палочкой в руках, и песня, разбудившая на минуту скучную дремоту, разом подрезанная, остановилась, только балалайка показал палец будочнику; почтенный блюститель тишины гордо отправился под арку, как паук, возвращающийся в темный угол, закусивши мушиными мозгами. Тут тишина еще более водворилась; стало смеркаться. Бельтов поглядел — и ему сделалось страшно, его давило чугунной плитой, ему явным образом недоставало воздуха для дыхания, может быть, от подожженного масла с табаком, который проходил из нижнего этажа. Он схватил свой картуз, надел пальто, запер за собой дверь и вышел на улицу. Город был невелик, и пройти его с конца в конец было нетрудно. Та же пустота везде; разумеется, ему и тут попадались кой-какие лица; изнуренная работница с коромыслом на плече, босая и выбившаяся из сил, поднималась в гору по гололедице, задыхаясь и останавливаясь; толстой и приветливой наружности поп, в домашнем подряснике, сидел перед воротами и посматривал на нее; попадались еще или поджарые подьячие, или толстый советник, — и все это было так засалено, дурно одето, не от бедности, а от нечистоплотности, и все это шло с такою претензией, так непросто: титулярный советник выступал так важно, как будто он сенатор римский… а коллежский регистратор — будто он титулярный советник; проскакал еще на санках полицеймейстер; он с величайшей грацией кланялся советникам, показывая озабоченно на бумагу, вдетую между петлиц, — это значило, что он едет с дневным к его превосходительству… Прошли, наконец, две толстые купчихи, кухарка несла за ними веники и узелок; красные щеки доказывали, что веники не напрасно были взяты. Больше никаких встреч не было.

«Что значит эта тишина, — думал Бельтов, — глубокую думу или глубокое бездумье, грусть или просто лень? Не поймешь. И отчего мне эта тишина так тягостна, что хоть бы повернуть оглобли; отчего она меня так давит? Я люблю тишину. Тишина на море, в селе, даже просто на поле, на ровном, вдаль идущем поле, наполняет меня особым поэтическим благочестием, кротким самозабвением. Здесь не то. Там — ширь с этим безмолвием, а здесь все давит, а здесь тесно, мелко, кругом жалкие строения, еще бы

развалины, а то подкрашенные, подбеленные, да где же жители? Приступом, что ли, взяли вчера этот город, мор, что ли, посетил его — ничего не бывало: жители дома, жители отдыхают; да когда же они трудились?..» И Бельтов невольно переносился в шумные, кипящие народом улицы других городков, не столько патриархальных и более преданных суете мирской. Он начал ощущать ту неловкость, которая обыкновенно сопровождает ложный шаг в жизни, особенно когда мы начинаем сознавать его, и печально отправился домой. Когда он подходил к гостинице, густой протяжный звук колокола раздался из подгороднего монастыря; в этом звоне напомнилось Владимиру что-то давно прошедшее, он пошел было на звон, но вдруг улыбнулся, покачал головой и скорыми шагами отправился домой. Бедная жертва века, полного сомнением, не в NN тебе сыскать покой!

Через несколько дней, которые Бельтов провел в глубокомысленном чтении и изучении устава в дворянских выборах, он, одевшись с некоторой тщательностью, отправился делать нужнейшие визиты. Часа через три он возвратился с сильной головной болью, приметно расстроенный и утомленный, спросил мятной воды и примочил голову одеколоном; одеколон и мятная вода привели немного в порядок ею мысли, и он один, лежа на диване, то морщился, то чуть не хохотал, — у него в голове шла репетиция всего виденного, от передней начальника губернии, где он очень приятно провел несколько минут с жандармом, двумя купцами первой гильдии и двумя лакеями, которые здоровались и прощались со всеми входящими и выходящими весьма оригинальными приветствиями, говоря: «С прошедшим праздничком», причем они, как гордые британцы, протягивали руку, ту руку, которая имела счастие ежедневно подсаживать генерала в карету, — до гостиной губернского предводителя, в которой почтенный представитель блестящего NN-ского дворянства уверял, что нельзя нигде так научиться гражданской форме, как в военной службе, что она дает человеку главное; конечно, имея главное, остальное приобрести ничего не значит; потом он признался Бельтову, что он истинный патриот, строит у себя в деревне каменную церковь и терпеть не может эдаких дворян, которые, вместо того чтоб служить в кавалерии и заниматься устройством имения, играют в карты, держат француженок и ездят в Париж, — все это вместе должно было представить нечто вроде колкости Бельтову. Ряд лиц, виденных Бельтовым, не выходил у него из головы. То ему представлялся губернский прокурор, который в три минуты успел ему шесть раз сказать: «Вы сами человек с образованием, вы понимаете, что для меня господин губернатор постороннее лицо: я пишу прямо к министру юстиции, министр юстиции — это генерал-прокурор. Губернатор хорош — и я для его превосходительства все, что могу, «читал, читал, читал», да и кончено; он — иначе, — и я ему с полным уважением, как следует высокому сану; ну да уж больше ничего, меня заставить нельзя; я не советник губернского правления». При этом он каждый раз нюхал из кольчатой серебряной табакерки рульный табак, наружностью разительно похожий на французский, но отличавшийся от него скверным запахом. То председатель гражданской палаты, худой, высокий, тощий, скупой и нечистый, доказывавший грязью свое бескорыстие. То генерал Хрящов, окруженный двумя отрешенными от должности исправниками, бедными помещиками, легавыми собаками, псарями, дворней, тремя влемянницами и двумя сестрами; генерал у него в воспоминаниях кричал так же, как у себя в комнате, высвистывал из передней Митьку и с величайшим человеколюбием обходился с легавой собакой. То наш знакомый председатель уголовной палаты, Антон Антонович, в халате цвета лягушечьей спинки, с своим советником с Анной в петлице. Когда мало-помалу это почтенное общество лиц отступило в голове Бельтова на второй план и все они слились в одно фантастическое лицо какого-то колоссального чиновника, насупившего брови,

неречистого, уклончивого, но который постоит за себя, Бельтов увидел, что ему не совладать с этим Голиафом и что его не только не собьешь с ног обыкновенной пращой, но и гранитным утесом, стоящим под монументом Петра I.

Странное дело — Бельтов, с тех пор как отправился в чужие края, жил много и мыслию, и страстями, раздражением мозга и раздражением чувств. Жизнь даром не проходит для людей, у которых пробудилась хоть какая-нибудь сильная мысль… все ничего, сегодня идет, как вчера, все очень обыкновенно, а вдруг обернешься назад и с изумлением увидишь, что расстояние пройдено страшное, нажито, прожито бездна. Так и было с Бельтовым: он нажил и прожил бездну, но не установился. Бельтов во второй раз встретился с действительностью при тех же условиях, как в канцелярии, — и снова струсил перед ней. У него недоставало того практического смысла, который выучивает человека разбирать связный почерк живых событий; он был слишком разобщен с миром, его окружавшим. Причина этой разобщенности Бельтова понятна: Жозеф сделал из него человека вообще, как Руссо из Эмиля; университет продолжал это общее развитие; дружеский кружок из пяти-шести юношей, полных мечтами, полных надеждами, настолько большими, насколько им еще была неизвестна жизнь за стенами аудитории, — более и более поддерживал Бельтова в кругу идей, не свойственных, чуждых среде, в которой ему приходилось жить. Наконец двери школы закрылись, и дружеский круг, вечный и домогильный, бледнел, бледнел и остался только в воспоминаниях или воскресал при случайных и ненужных встречах да при бокалах вина, — открылись другие двери, немного со скрыпом. Бельтов прошел в них и очутился в стране, совершенно ему неизвестной, до того чуждой, что он не мог приладиться ни к чему; он не сочувствовал ни с одной действительной стороной около него кипевшей жизни; он не имел способности быть хорошим помещиком, отличным офицером, усердным чиновником, — а затем в действительности оставались только места праздношатающихся, игроков и кутящей братии вообще; к чести нашего героя должно признаться, что к последнему сословию он имел побольше симпатии, нежели к первым, да и тут ему нельзя было распахнуться: он был слишком развит, а разврат этих господ слишком грязен, слишком груб. Побился он с медициной да с живописью, покутил, поиграл, да и уехал в чужие края. Де́ла, само собою разумеется, и там ему не нашлось; он занимался бессистемно, занимался всем на свете, удивлял немецких специалистов многосторонностью русского ума; удивлял французов глубокомыслием, и в то время, как немцы и французы делали много, — он ничего, он тратил свое время, стреляя из пистолета в тире, просиживая до поздней ночи у ресторанов и отдаваясь телом, душою и кошельком какой-нибудь лоретке. Такая жизнь не могла наконец не привести к болезненной потребности дела. Несмотря на то, что среди видимой праздности Бельтов много жил и мыслию и страстями, он сохранил от юности отсутствие всякого практического смысла в отношении своей жизни. Вот причина, по которой Бельтов, гонимый тоскою по деятельности, во-первых, принял прекрасное и достохвальное намерение служить по выборам и, во-вторых, не только удивился, увидев людей, которых он должен был знать со дня рождения или о которых ему следовало бы справиться, вступая с ними в такие близкие сношения, — но был до того ошеломлен их языком, их манерами, их образом мыслей, что готов был без всяких усилий, без боя отказаться от предложения, занимавшего его несколько месяцев. Счастлив тот человек, который продолжает начатое, которому преемственно передано дело: он рано приучается к нему, он не тратит полжизни на выбор, он сосредоточивается, ограничивается для того, чтоб не расплыться, — и производит. Мы чаще всего начинаем вновь, мы от отцов своих наследуем только движимое и недвижимое имение, да и то

плохо храним; оттого по большей части мы ничего не хотим делать, а если хотим, то выходим на необозримую степь — иди, куда хочешь, во все стороны — воля вольная, только никуда не дойдешь: это наше многостороннее бездействие, наша деятельная лень. Бельтов совершенно принадлежал к подобным людям; он был лишен совершеннолетия — несмотря на возмужалость своей мысли; словом, теперь, за тридцать лет от роду, он, как шестнадцатилетний мальчик, готовился начать свою жизнь, не замечая, что дверь, ближе и ближе открывавшаяся, не та, через которую входят гладиаторы, а та, в которую выносят их тела. — «Конечно, Бельтов во многом виноват». — Я совершенно с вами согласен; а другие думают, что есть за людьми вины лучше всякой правоты. Так на свете все превратно.

Не прошло и месяца после водворения Бельтова в NN, как он успел уже приобрести ненависть всего помещичьего круга, что не мешало, впрочем, и чиновникам, с своей стороны, его ненавидеть. В числе ненавидевших были такие, которые его в глаза не знали; другие если и знали, то не имели никаких сношений с ним; это была с их стороны ненависть чистая, бескорыстная, но и самые бескорыстные чувства имеют какую-нибудь причину. Причину нелюбви к Бельтову разгадать нетрудно. Помещики и чиновники составляли свои, более или менее замкнутые круги, но круги близкие, родственные; у них были свои интересы, свои ссоры, свои партии, свое общественное мнение, свои обычаи, общие, впрочем, помещикам всех губерний и чиновникам леей империи. Приезжай в NN советник из RR, он в неделю был бы деятельный и уважаемый член и собрат; приезжай уважаемый друг наш, Павел Иванович Чичиков, и полицеймейстер сделал бы для него попойку и другие пошли бы плясать около него и стали бы его называть «мамочкой», — так, очевидно, поняли бы они родство свое с Павлом Ивановичем. Но Бельтов, Бельтов — человек, вышедший в отставку, не дослуживши четырнадцати лет и шести месяцев до знака, как заметил помощник столоначальника, любивший все то, чего эти господа терпеть не могут, читавший вредные книжонки все то время, когда они занимались полезными картами, скиталец по Европе, чужой дома, чужой и на чужбине, аристократический по изяществу манер и человек XIX века по убеждениям, — как его могло принять провинциальное общество! Он не мог войти в их интересы, ни они — в его, и они его ненавидели, поняв чувством, что Бельтов — протест, какое-то обличение их жизни, какое-то возражение на весь порядок ее. Ко всему этому присовокупилось множество важных обстоятельств. Он сделал мало визитов, он сделал их поздно, он всюду ездил по утрам в сюртуке, он губернатору реже обыкновенного говорил «ваше превосходительство», а предводителю, отставному драгунскому ротмистру, и вовсе не говорил, несмотря на то что он по месту был временно превосходительный; он с своим камердинером обращался так вежливо, что это оскорбляло гостя; он с дамами говорил, как с людьми, и вообще изъяснялся «слишком вольно». Присовокупите к этому, что в низшем слою бюрократии он был потерян в первый день приезда, вместе с прямым ходом в бильярдную. Само собою разумеется, ненависть к Бельтову была настолько учтива, что давала себе волю за глаза, в глаза же она окружала свою жертву таким тупым и грубым вниманием, что ее можно было принять за простую любовь. Всякий старался иметь приезжего в своем доме, чтоб похвастаться знакомством с ним, чтоб стяжать право десять раз в разговоре ввернуть: «Вот, когда Бельтов был у меня… я с ним…» — ну и, как водится, в заключение какая-нибудь невинная клевета.

Все меры были взяты добрыми NN-цами, чтоб на выборах прокатить Бельтова на вороных или почтить его избранием в такую должность, которую добровольно мудрено принять. Он сначала не замечал ни ненависти к себе, ни этих парламентских козней,

потом стал догадываться и решился самоотверженно идти до конца… Но не бойтесь, по причинам, очень мне известным, по которые, из авторской уловки, хочу скрыть, я избавлю читателей от дальнейших подробностей и описаний выборов NN; на этот раз меня манят другие события — частные, а не служебные.

II

Вы, верно, давным-давно забыли о существовании двух юных лиц, оттертых на далекое расстояние длинным эпизодом, — о Любоньке и о скромном, милом Круциферском. А между тем в их жизни совершилось очень много: мы их оставили почти женихом и невестой, мы их встретим теперь мужем и женою; мало этого: они ведут за руку трехлетнего bambino, маленького Яшу.

Рассказывать об этих четырех годах нечего; они были счастливы, светло, тихо шло их время; счастье любви, особенно любви полной, увенчанной, лишенной тревожного ожидания, — тайна, тайна, принадлежащая двоим; тут третий — лишний, тут свидетель не нужен; в этом исключительном посвящении только двоих лежит особая прелесть и невыразимость любви взаимной. Рассказывать внешнюю историю их жизни можно, но не стоит труда; ежедневные заботы, недостаток в деньгах, ссоры с кухаркой, покупка мебели — вся эта внешняя пыль садилась на них, как и на всех, досаждала собою, но была бесследно стерта через минуту и едва сохранялась в памяти. Круциферский получил через Крупова место старшего учителя в гимназии, давал уроки, попадал, разумеется, и на таких родителей, которые платили сполна, — скромно, стало быть, они могли жить в NN, а иначе им и жить не хотелось. Алексей Абрамович, сколько его ни убеждал Крупов, более десяти тысяч не дал в приданое, но зато решительно взял на себя обзаведение молодых; эту трудную задачу он разрешил довольно удачно: он перевез к ним все то из своего дома и из кладовой, что было для него совершенно не нужно, полагая, вероятно, что именно это-то и нужно молодым. Таким образом, историческая коляска, о которой думал Алексей Абрамович в то самое время, в которое Глафира Львовна думала о несчастной дочери преступной любви, состаревшаяся, осунувшаяся, порыжевшая, с сломанной рессорой и с значительной раной на боку, была доставлена с большими затруднениями на маленький дворик Круциферского; сарая у него не было, и коляска долго служила приютом кротких кур. Алексей Абрамович и лошадь отправил было к нему, но она на дороге скоропостижно умерла, чего с нею ни разу не случалось в продолжение двадцатилетней беспорочной службы на конюшне генерала; время ли ей пришло или ей обидно показалось, что крестьянин, выехав из виду барского дома, заложил ее в корень, а свою на пристяжку, только она умерла; крестьянин был так поражен, что месяцев шесть находился в бегах. Но один из лучших подарков был сделан утром в день отъезда молодых; Алексей Абрамович велел позвать Николашку и Палашку — молодого чахоточного малого лет двадцати пяти и молодую девку, очень рябую. Когда они вошли, Алексей Абрамович принял важный и даже грозный виц. «Кланяйтесь в ноги! — сказал генерал. — И поцелуйте ручку у Любови Александровны и у Дмитрия Яковлевича». Последнее поручение нелегко было исполнить: сконфуженная молодая чета прятала руки, краснела, целовалась и не знала, что начать. Но глава общины продолжал: «Это ваши новые господа, — слова эти он произнес громко, голосом, приличным такому важному извещению, — служите им хорошо, и вам будет хорошо (вы помните, что это уж повторение)! Ну, а вы их жалуйте да будьте к ним милостивы, если хорошо себя поведут, а зашалят, пришлите ко мне; у меня такая гимназия для баловней, возвращу шелковыми. Баловать тоже не надобно. Вот моя хлеб-соль на дорогу; а то, я знаю, вы к хозяйству люди не приобыкшие, где вам ладить с вольными людьми; да и вольный человек у нас бестия, знает, что с ним ничего, что возьмет паспорт, да, как барин какой, и пойдет по передним искать другого места. Ну, кланяйтесь же, и вон!» — красноречиво заключил генерал. Николашка с Палашкой чебурахнулись еще раз в

ноги и вышли. Тем и окончилась история вступления их в новое владение. В тот же день перебрались наши молодые в город в сопровождении кашлявшего Николашки и барельефной Палашки.

Жизнь Круциферских устроилась прекрасно. Они так мало делали требований на внешнее, так много были довольны собою, так проникались взаимной симпатией, что их трудно было не принять за иностранцев в NN; они вовсе не были похожи на все, что окружало их. Очень замечательная вещь, что есть добрые люди, считающие нас вообще и провинциалов в особенности патриархальными, по преимуществу семейными, а мы нашу семейную жизнь не умеем перетащить через порог образования, и еще замечательнее, может быть, что, остывая к семейной жизни, мы не пристаем ни к какой другой; у нас не личность, не общие интересы развиваются, а только семья глохнет. В семейной жизни у нас какая-то формальная официальность; то только в ней и есть, что показывается, как в театральной декорации, и не брани муж свою жену да не притесняй родители детей, нельзя было бы и догадаться, что общего имеют эти люди и зачем они надоедают друг другу, а живут вместе. Кто хочет у нас радоваться на семейную жизнь, тот должен искать ее в гостиной, а в спальню не ходить; мы не немцы, добросовестно счастливые во всех комнатах лет тридцать сряду. Бывают исключения, и такое-то исключение представляла наша чета. Они учредились просто, скромно, не знали, как другие живут, и жили по крайнему разумению; они не тянулись за другими, не бросали последние тощие средства свои, чтоб оставить себя в подозрении богатства, они не натягивали двадцать, тридцать ненужных знакомств; словом: часть искусственных вериг, взаимных ланкастерских гонений, называемых общежитием, над которым все смеются и выше которого никто не смеет стать, миновала домик скромного учителя гимназии; зато сам Семен Иванович Крупов мирился с семейной жизнию, глядя на «милых детей» своих.

Несколько дней после того, как Бельтов, недовольный и мучимый каким-то предчувствием и действительным отсутствием жизни в городе, бродил с мрачным видом и с руками, засунутыми в карманы, — в одном из домиков, мимо которых он шел, полный негодования и горечи, он мог бы увидеть тогда, как и теперь, одну из тех успокоивающих, прекрасных семейных картин, которые всеми чертами доказывают возможность счастия на земле. В картине этой было что-то похожее на летний вечер в саду, когда нет ветру, когда пруд стелется, как металлическое зеркало, золотое от солнца, небольшая деревенька видна вдали, между деревьев, роса поднимается, стадо идет домой с своим перемешанным хором кряка, топанья, мычанья… и вы готовы от всего сердца присягнуть, что ничего лучшего не желали бы во всю жизнь… и как хорошо, что вечер этот пройдет через час, то есть сменится вовремя ночью, чтоб не потерять своей репутации, чтоб заставить жалеть о себе прежде, нежели надоест. В небольшой чистенькой комнатке сидел на диване Семен Иванович Крупов почетным и единственным гостем. Молодая женщина, улыбаясь, набивала ему трубку, ее муж сидел на креслах и поглядывал с безмятежным спокойствием и любовью то на жену, то на старика. Через минуту вошел в комнату трехлетний ребенок, переваливаясь с ноги на ногу, и отправился прямым путем, то есть не обходя стол, а туннелем между ножек, к Крупову, которого очень любил за часы с репетицией и за две сердоликовые печатки, висевшие у него из-под жилета.

— Яша, здравствуй! — сказал Семен Иванович, вытаскивая своего приятеля из-под стола и усаживая его к себе на колени.

Яша ухватил за печатку и вытягивал часы.

— Он вам мешает чай пить и курить, дайте его мне, — сказала мать, убежденная твердо, что Яша никому и никогда мешать не может.

— Оставьте, сделайте одолжение; я сам его спроважу, когда надоест, — и Семен Иванович вынул часы и заставил их бить; Яша с восхищением слушал бой, поднес потом часы к уху Семена Ивановича, потом к уху матери и, видя несомненные знаки их удивления, поднес их к собственному рту.

— Дети — большое счастие в жизни! — сказал Крупов. — Особенно нашему брату, старику, как-то отрадно ласкать кудрявые головки их и смотреть в эти светлые глазенки. Право, не так грубеешь, не так падаешь в ячность, глядя на эту молодую травку. Но, скажу вам откровенно, я не жалею, что у меня своих детей нет… да и на что? Вот дал же бог мне внучка, со-стареюсь, пойду к нему в няни.

— Няня там! — заметил Яша, указывая на дверь с предовольным видом.

— Возьми меня в няни.

Яша приготовился было возразить на это страшным криком, но мать предупредила это, обратив внимание его на золотую пуговицу на фраке Крупова.

— Я люблю детей, — продолжал старик, — да я вообще люблю людей, а был помоложе — любил и хорошенькое личико и, право, был раз пять влюблен, но для меня семейная жизнь противна. Человек может жить только один спокойно и свободно. В семейной жизни, как нарочно, все сделано, чтоб живущие под одной кровлей надоедали друг другу, — поневоле разойдутся; не живи вместе — вечная нескончаемая дружба, а вместе тесно.

— Полноте, Семен Иванович, — возразил Круциферский, — что вы это говорите! Целая сторона жизни, лучшая, полная счастия и блаженства, вам осталась неизвестна. И что вам в этой свободе, состоящей в отсутствии всяких ощущений, в эгоизме.

— Вот ведь и пошел. А сколько раз я говорил тебе, Дмитрий Яковлевич, что ты меня словом «эгоизм» не запугаешь. — Какая гордость! «Без всяких ощущений», — как будто только на свете и ощущений, что идолопоклонство мужа к жене, жены к мужу, да ревнивое желание так поглотить друг друга для самих себя, чтоб ближнему ничего не досталюсь, плакать только о своем горе, радоваться своему счастью. Нет, батюшка, знаем мы самоотверженную любовь вашу; вот, не хочу хвастаться, да так уж к слову пришло, — как придешь к больному, и сердце замирает: плох был, неловко так подходишь к кровати — ба, ба, ба! пульс-то лучше, а больной смотрит слабыми глазами да жмет тебе руку, — ну, это, братец, тоже ощущенье. Эгоизм? Да кроме безумных, кто ж не эгоист? Только одни просто, а другие, знаете, по пословице: та же щука, да под хреном. А на то пошло, так нет уже и ограниченнее эгоизма, как семейный.

— Я не знаю, Семен Иванович, что вас так стращает в семейной жизни; я теперь ровно четыре года замужем, мне свободно, я вовсе не вижу ни с моей стороны, ни с его ни жертв, ни тягости, — сказала Круциферская.

— Удалось сорвать банк, так и похваливает игру; мало ли чудес бывает на свете; вы исключенье — очень рад; да это ничего не доказывает; два года тому назад у нашего портного — да вы знаете его: портной Панкратов, на Московской улице, — у него ребенок упал из окна второго этажа на мостовую; как, кажется, не расшибиться? Хоть бы что-нибудь! Разумеется, синие пятна, царапины — больше ничего. Ну, извольте выбросить другого ребенка. Да и тут еще вышла вещь плохая, ребенок-то чахнет.

— Это уж не дурное ли пророчество нам? — спросила Круциферская, дружески положив руку на плечо Семену Ивановичу. — Я ваших пророчеств не боюсь с тех пор, как вы предсказывали моему мужу страшные последствия нашего брака.

— Как бы злопамятны, не стыдно ли? Да и этот болтун все рассказал, экой мужчина! Ну, слава богу, слава богу, что я солгал; прошу забыть; кто старое помянет, тому глаз вон, хоть бы он был так удивительно хорош, как вот этот, — он указал пальцем.

— Каков Семен Иванович, он еще и комплименты говорит.

— Я вам и получше и побольше комплимент скажу: глядя на ваше житье, я действительно несколько примирился с семейной жизнию; но не забудьте, что, проживши лет шестьдесят, я в вашем доме в первый раз увидел не в романе, не в стихах, а на самом деле осуществление семейного счастия. Не слишком же часты примеры.

— Почему знать, — отвечала Круциферская, — может быть, возле вас прошли незамеченными другие пары; любовь истинная вовсе не интересуется выказываться; да и искали ли вы, и как искали? Наконец, просто случайность, что вам мало встречалось людей семейно счастливых. А может быть, Семен Иванович, — прибавила она с той насмешливой злобой и даже с тою неделикатностью, которая всегда присуща людям счастливым, — вам уж кажется, что надобно выдержать характер, что если вы теперь признаетесь, что были неправы, то осудите всю жизнь свою и должны будете с тем вместе узнать, что поправить ее нельзя.

— О, нет, — возразил с жаром старик, — об этом не беспокойтесь, никогда не раскаюсь в былом, во-первых, потому, что глупо горевать о том, чего не воротишь, во-вторых, я, холостой старик, доживаю спокойно век мой, а вы прекрасно начинаете вашу жизнь.

— Не знаю цели, — заметил Круциферский, — с которой вы сказали последнее замечание, но оно сильно отозвалось в моем сердце; оно навело меня на одну из безотвязных и очень скорбных мыслей, таких, которых присутствие в душе достаточно, чтоб отравить минуту самого пылкого восторга. Подчас мне становится страшно мое счастие; я, как обладатель огромных богатств, начинаю трепетать перед будущим. Как бы…

— Как бы не вычли потом. Ха, ха, ха, эки мечтатели! Кто мерил ваше счастье, кто будет вычитать? Что это за ребяческий взгляд! Случай и вы сами устроили ваше счастье, — и потому оно ваше, и наказывать вас за счастье было бы нелепостью. Разумеется, тот же случай, неразумный, неотразимый, может разрушить ваше счастие; но мало ли что может быть. Может быть, балки этого потолка подгнили, может быть, он провалится; ну, начнемте выбираться; да как выбираться? На дворе встретится бешеная собака, на улице лошадь задавит… Да если допустить в себе боязнь возможного зла, так лучше опиуму выпить, да и уснуть на веки веков.

— Я всегда дивился, Семен Иванович, легкости, с которой вы принимаете жизнь: это счастие, большое счастие, но оно не всем дано; вы говорите: случай — и успокоиваетесь, а я нет. Мне от того не легче, что я неизвестную, но подозреваемую связь событий моей жизни назову случаем. Все в жизни недаром, и все имеет высокий смысл; недаром вы нашли меня на моем чердаке; мало ли учителей в Москве, — почему именно меня? Не для того ли, что во мне лежало орудие для освобождения этого высокого, чистого существа, и то, о чем я боялся мечтать, боялся думать, вдруг совершилось, — и счастью моему нет меры. Да где же справедливость, если это так и пойдет на всю жизнь? Я покоряюсь моему счастию так, как другие покоряются несчастию, но не могу отделаться от страха перед будущим.

— То есть перед тем, чего нет. И я, с своей стороны, скажу, что всю жизнь не понимал да и не пойму эти болезненные воображения, находящие наслаждение в том, чтобы мучить себя грезами и придумывать беды и вперёд грустить. Такой характер — своего рода несчастие. Ну, пришибет бедою, разразится горе над головой, — поневоле заплачешь и повесишь нос; но думать, когда надобно пить прекрасное вино, что за это завтра судьба подаст прескверного квасу, — это своего рода безумие. Неуменье жить в настоящем, ценить будущее, отдаваться ему — это одна из моральных эпидемий, наиболее развитых в

наше время. Мы все еще похожи на тех жидов, которые не пьют, не едят, а откладывают копейку на черный день; и какой бы черный день ни пришел, мы не раскроем сундуков, — что это за жизнь?

— Я совершенно согласна с вами, Семен Иванович, — с жаром сказала Круциферская. — Я часто говорю об этом с Дмитрием. Если мне хорошо, зачем я стану думать о будущем? Для меня его хоть бы совсем не было. Он сам со мною часто соглашается, но тайная грусть так глубоко вкоренилась в него, что он не может ее победить. Да и зачем, впрочем, — прибавила она, светло и симпатично улыбаясь мужу, — а я грусть эту люблю в нем, в ней столько глубокого. Я думаю, мы с вами оттого не понимаем или, по крайней мере, не сочувствуем этой грусти, что у нас прав поверхностнее, удобовпечатлительнее, что нас занимает и увлекает внешность.

— Начали за здравие, свели за упокой; начали так, что я хотел поцеловать вашу ручку и сказать мужу: «Вот человеческое пониманье жизни», а кончили тем, что его грезы — глубокомыслие; хорошо глубокомыслие — мучиться, когда надобно наслаждаться, и горевать о вещах, которых, может быть, и не будет.

— Семен Иванович, на что вы так исключительны? Есть нежные организации, для которых нет полного счастия на земле, которые самоотверженно готовы отдать все, но не могут отдать печальный звук, лежащий на дне их сердца, — звук, который ежеминутно готов сделаться… Надобно быть погрубее для того, чтоб быть посчастливее; мне это часто приходит в голову; посмотрите, как невозмущаемо счастливы, например, птицы, звери, оттого что они меньше нас понимают.

— Однако довольно неприятно, — заметил неумолимый Крупов, — иметь высшую натуру для существа, назначенного жить не выше и не ниже, как на земле. Признаюсь, эту высоту я принимаю за физическое расстройство, за нервный припадок; обливайтесь холодной водой да делайте больше движения — половина надзвездных мечтаеий пройдет. Вы, Дмитрий Яковлевич, от рождения слабы физическими силами; в слабых организациях часто умственные способности чрезвычайно развиты, но почти всегда эдак вкось, куда-нибудь в отвлеченье, в фантазию, в мистицизм. Вот отчего древние говорили: mens sana in corpore sano. Посмотрите на бледных, белокурых немцев, отчего они мечтатели, отчего они держат голову на сторону, часто плачут? От золотухи и от климата; от этого они готовы целые века бредить о мистических контроверзах, а дела никакого не делают.

— Недаром говорят, что медицинские занятия прививают человеку какой-то сухой материальный взгляд на жизнь; вы так коротко знакомитесь с вещественной стороной человека, что из-за нее забыли другую сторону, ускользающую от скальпеля и которая одна и дает смысл грубой материи.

— Ох, эти мне идеалисты, — сказал Семен Иванович., который приметно начал сердиться, — вечно подъезжают с вздором. Да кто же это им сказал, что вся медицина только и состоит из анатомии; сами придумали и тешатся; какая-то грубая материя… Я не знаю ни грубой материи, ни учтивой, а знаю живую. Мудрецы вы, нынешние ученые, а мелко плаваете! Это наш старый спор, он никогда не кончится, лучше перестать. Посмотрите, как Яшу мы убаюкали нашими пустяками, спит себе спокойно. Спи, малютка! Тебя еще папаша не научил презирать землю да материю, не уверил еще тебя, что эти милые ножки, эти ручонки — кусочки грязи, приставшей к тебе. Любовь Александровна, пожалуйста, не развивайте в нем этих пустяков; ну, вы мужу даете поблажку, бог с ним! Невинного ребенка, по крайности, не развращайте этим бредом с малых лет; ну, что сделаете из него? Мечтателя. Будет до старости искать жар-птицу, а настоящая-то жизнь в

это время уйдет между пальцев. Ну, хорошо ли это? Возьмите-ка его.

Старик отдал Яшу матери, взял свой картуз и, медленно застегивая фрак, сказал:

— Ах, я забыл вам рассказать: на днях как-то я познакомился с преинтересным человеком.

— Верно, с Бельтовым? — спросила Круциферская. — Его приезд до того наделал шуму, что и я узнала об нем от директорши.

— Именно. Они шумят потому, что он богат, а дело в том, что он действительно замечательный человек, все на свете знает, все видел, умница такой; избалован немножко, ну, знаете, матушкин сынок; нужда не воспитывала его по-нашему, жил спустя рукава, а теперь умирает здесь от скуки, хандрит; можете себе представить, каково после Парижа.

— Бельтов! Да позвольте, — сказал Дмитрий Яковлевич, — фамилия знакомая; да не был ли он в мое время в московском университете? Бельтов оканчивал курс, когда я вступил; про него и тогда говорили, что он страшно умен; еще его воспитывал какой-то женевец.

— Тот самый, тот самый.

— Я помню его, мы были немного знакомы.

— Я уверен, что он был бы очень рад вас видеть; в этой глуши встретить образованного человека — всякому клад; а Бельтов вовсе не умеет быть один, сколько я заметил. Ему надобно говорить, ему хочется обмена, и он болен от одиночества.

— Если вы не находите ничего против этого, я, пожалуй, пойду.

— Пойдемте-ка, доброе дело. — Нет, постой; вот я и стар, да опрометчив; он слишком, брат, богат, чтоб тебе первому идти к нему! Я завтра ему скажу: захочет, приедем с ним к тебе. — Прощай, любезный спорщик. Прощайте.

— Привозите же завтра вашего Бельтова, — сказала Любовь Александровна, — нам до того наговорили об нем, что и мне захотелось его видеть.

— Стоит, право, стоит, — сказал старик, выходя в переднюю.

Крупов всякий раз спорил с Круциферским, всякий раз сердился и говорил, что он все более и более расходится с ним, — что не мешало нисколько тому, что они сближались ежедневно теснее и теснее. Для Крупова семья Круциферского — была его семья; он туда шел пожить сердцем, которое у него еще было тепло, отдохнуть, глядя на счастье их. Для Круциферских Крупов представлял действительно старшего в семье — отца, дядю, но такого дядю, которому любовь, а не права крови дали власть иногда пожурить и погрубить, — что оба прощали ему от души, и им было грустно, когда не видали его дня два.

На другой день, часов в семь после обеда, Семен Иванович привез в своих пошевнях, покрытых желтым ковром, и на паре обвинок, светло-саврасой шерсти, Бельтова к Круциферскому. Разумеется, Бельтов был рад-радехонек познакомиться с порядочным человеком, и ему вовсе не пришло в голову, что он сделает первый визит. Хозяева немного сконфузились; похвалы Семена Ивановича, слух о его заграничной жизни, даже его богатство — все это смутно вспомнилось, когда он вошел в комнату, и сделало встречу несколько натянутой; но это тотчас прошло. В приемах и речах Бельтова было столько открытого, простого, и притом в нем было столько такту, этой высокой принадлежности людей с развитой и нежной душою, что не прошло получаса, как тон беседы сделался приятельским, Даже Круциферская, так не привыкнувшая к посторонним, невольно была вовлечена в разговор. С Дмитрием Яковлевичем Бельтов вспомнил университетские годы, бездну тогдашних анекдотов, тогдашние мечты, надежды. Давно ему не было так отрадно, и он дружески благодарил Крупова за это знакомство, когда тот

подвез его к подъезду гостиницы «Кересрерг».

— Ну, что, — спрашивал потом Семен Иванович у Круциферских, — как вам нравится новый зиакомый?

— Этого и спрашивать не следует, — отвечал Круциферский.

— Он мне очень понравился, — сказала Любовь Александровна.

Семен Иванович, чрезвычайно довольный, что доставил всем удовольствие, шутливо погрозил пальцем.

Любовь Александровна покраснела.

Семейные картины увлекательны, и теперь, докончивши одну, я не могу удержаться, чтоб не начать другую. Тесная связь их, уверяю вас, раскроется после.

III

У дубасовского уездного предводителя была дочь, — и в этом еще не было бы большого зла ни для почтеннейшего Карпа Кондратьича, ни для милой Варвары Карповны; но у него, сверх дочери, была жена, а у Вавы, как звали ее дома, была, сверх отца, милая маменька, Марья Степановна, это изменяло существенно положение дела. Карп Кондратьич был образец кротости в семейных делах; странно было видеть, как изменялся он, переходя из конюшни в столовую, с гумна в спальню или в диванную. Если б мы не имели достоверных документов от известных путешественников, свидетельствующих о том, что один и тот же англичанин может быть отличнейшим плантатором и прекрасным отцом семейства, то мы сами усомнились бы в возможности такой двойственности. Впрочем, рассуждая глубже, можно заметить, что это так и должно быть; вне дома, то есть на конюшне и на гумне, Карп Кондратьич вел войну, был полководцем в наносил врагу наибольшее число ударов; врагами его, разумеется, являлись непокорные крамольники — лень, несовершенная преданность его интересам, несовершенное восвящение себя четверке гнедых и другие преступления; в зале своей, напротив, Карп Кондратьич находил рыхлые объятия верной супруги и милое чело дочери для поцелуя; он снимал с себя тяжелый панцирь помещичьих забот и становился не то чтобы добрым человеком, а добрым Карпом Кондратьичем. Жена его находилась вовсе не в таком положении; она лет двадцать вела маленькую партизанскую войну в стенах дома, редко делая небольшие вылазки за крестьянскими куриными яйцами и тальками; деятельная перестрелка с горничными, поваром и буфетчиком поддерживала ее в беспрестанно раздраженном состоянии; но к чести ее должно сказать, что душа ее не могла совсем наполниться этими мелочными неприятельскими действиями — и она со слезами на глазах прижала к своему сердцу семнадцатилетнюю Ваву, когда ее привезла двоюродная тетка из Москвы, где она кончила свое ученье в институте или в пансионе. Это уж не повару чета, не горничной — родная дочь, одна кровь течет в жилах, да и священная обязанность. Сначала дали Ваве отдохнуть, побегать по саду, особенно в лунные ночи; для девочки, воспитанной в четырех стенах, все было ново, «очаровательно, пленительно», она смотрела на луну и вспоминала о какой-нибудь из обожаемых подруг и твердо верила, что и та теперь вспомнит об ней; она вырезывала вензеля их на деревьях… Это было то время, которое холодным людям просто смешно, а у нас оно срывает улыбку, но не улыбку презренья, а ту улыбку, с которой мы смотрим на играющих детей: нам нельзя играть — пусть они поиграют. Натянутость, экзальтация, в которой обыкновенно обвиняют девушек, только что оставивших пансион, несправедлива, совершенно несправедлива. Во всех мечтах, во всех самопожертвованиях этого возраста, в его готовности любить, в его отсутствии эгоизма, в его преданности и самоотвержении — святая искренность; жизнь пришла к перелому, а занавесь будущего еще не поднялась; за ней страшные тайны, тайны привлекательные; сердце действительно страдает по чем-то неизвестном, и организм складывается в то же время, и нервная система раздражена, и слезы готовы беспрестанно литься. Пройдет пять, шесть лет, все переменится; замуж выйдет — и говорить нечего; не выйдет — да если только есть искра здоровой натуры, девушка не станет ждать, чтоб кто-нибудь отдернул таинственную завесу, сама ее отдернет и иначе взглянет на жизнь. Смешно смотреть институткой на мир двадцатипятилетними глазами, и печально, если институтка смотрит на вещи двадцатипятилетними глазами.

Варвара Карповна не была красавица, но в ней была богатая замена красоты, это *нечто*, ce quelque chose, которое, как букет хорошего вина, существует только для понимающего, и это *нечто*, еще не развитое, пророческое, предсказывающее, в соединении с юностью, которая все румянит, все красит, — придавало ей особую, тонкую, нежную, не всем доступную прелесть. Глядя на довольно худое, смуглое лицо ее, на юную нестройность тела, на задумчивые глаза с длинными ресницами, поневоле приходило в голову, как преобразятся все эти черты, как они устроятся, когда и мысль, и чувство, и эти глаза — все получит определение, смысл, отгадку, и как хорошо будет тому, на плечо которого склонится эта головка! Марья Степановна, впрочем, была очень недовольна наружностью дочери, называла ее «дурняшкой» и приказывала всякое утро и всякий вечер мыться огуречного водой, в которую прибавляла какой-то порошок, чтоб прошел загар, как она называла ее смуглость. Поведение Вавы при гостях заставило мать обратить серьезное внимание на нее; Вава была застенчива, уходила в сад с книжкой, не любезничала, не делала глазки. Книжка, как ближайшая причина, была отнята; потом пошли родительские поучения, вовеки нескончаемые; Марье Степановне показалось, что Вава ей повинуется не совсем с радостью, что она даже хмурит брови и иногда смеет отвечать; против таких вещей, согласитесь сами, надобно было взять решительные меры; Марья Степановна скрыла до поры до времени свою теплую любовь к дочери и начала ее гнать и теснить на всяком шагу. Она ей не позволяла гулять, когда той хотелось; она ее посылала, когда та хотела сидеть дома. Она ее заставляла нехотя есть и всякий день упрекала, что она не толстеет. Гонения матери сделали нрав Вавы сосредоточенным, она стала еще дичее, худела еще больше. Карпу Кондратьичу иногда приходило в голову, что жена его напрасно гонит бедную девушку, он пробовал даже заговаривать с нею об этом издалека; но как только речь подходила к большей определительности, он чувствовал такой ужас, что не находил в себе силы преодолеть его, и отправлялся поскорее на гумно, где за минутный страх вознаграждал себя долгим страхом, внушаемым всем вассалам. Поле оставалось свободно за Марьей Степановной, и она, с величайшей ревностью скупая ткацкие полотна, скатерти и салфетки для будущего приданого и заставляя семерых горничных слепить глаза за кружевными коклюшками, а трех вышивать в пяльцах разные ненужности для Вавы, — в то же самое время с невероятной упорностью гнала и теснила ее, как личного врага.

Когда они приехали в NN на выборы и Карп Кондратьевич напялил на себя с большим трудом дворянский мундир, ибо в три года предводителя прибыло очень много, а мундир, напротив, как-то съежился, и поехал как к начальнику губернии, так и к губернскому предводителю, которого он, в отличение от губернатора, остроумно называл «наше его превосходительство», — Марья Степановна занялась распоряжениями касательно убранства гостиной и выгрузки разного хлама, привезенного на четырех подводах из деревни; ей помогали трое не чесанных от колыбели лакеев, одетых в полуфраки из какой-то серой не то байки, не то сукна; дело шло горячо вперед; вдруг барыня, как бы пораженная нечаянной мыслью, остановилась и закричала своим звучным голосом:

— Вава, Вава, где ты это прячешься, а?

Бедная девушка, чувствуя, что это не к добру, робко вошла в комнату.

— Я здесь, maman!

— Что это у тебя за вид, больна, что ли, ты? Право, посмотришь на вас со стороны, покажется, что вам дурно жить в родительском доме; вот эти пансионы! к матери подходит с каким лицом! — Тут Марья Степановна передразнила томный вид девушки. — Я сама была дочь; бывало, маменька позовет, бегу к ней с открытым видом. — Тут она

представила открытый вид и улыбочку. — А ты все исподлобья… Дурак, разобьешь! Чему обрадовался, — тащит, мужик; никогда не выучишь… — Ну, милая моя, полно шутить, я тебе в последний раз скажу добрым порядком, что твое поведение меня огорчает; я еще молчала в деревне, но здесь этого не потерплю; я не за тем тащилась в такую даль, чтоб про мою дочь сказали: дикая дурочка; здесь я тебе не позволю в углу сидеть. Как не умеешь заинтересовать ни одного кавалера? Да мне было пятнадцать лет, а уж отбою не было от них. Тебя пора пристроить, слышишь ли?.. — Ах ты мерзавец, ведь говорила, что сломаешь; поди сюда, поди, тебе говорят, покажи, вишь, дурак, как сломал, совсем на две части; ну, я тебя угощу, дай барину воротиться; я сама бы оттаскала тебя за волосы, да гадко до тебя дотронуться: маслом как намазался, это вор Митька на кухне дает господское масло; вот, погоди, я и до него доберусь… — Да-с, Варвара Карповна, вы у меня на выборах извольте замуж выйти; я найду женихов, ну, а вам поблажки больше не дам; что ты о себе думаешь, красавица, что ли, такая, что тебя очень будут искать: ни лица ни тела, да и шагу не хочешь сделать, одеться не умеешь, слова молвить не умеешь, а еще училась в Москве; нет, голубушка, книжки в сторону, довольно начиталась, очень довольно, пора, матушка, за дело приниматься. Я тебя с глаз сгоню, если не поправишь поведения.

Вава стояла, как приговоренная к смерти; последние слова матери казались ей утешением.

— Как тебе не найти жениха! Триста пятьдесят душ крестьян! Каждая душа две души соседские стоит да приданище какое!.. Что, что — да ты, кажется, плакать начинаешь, плакать, чтоб глаза сделались красными; так ты эдак за материнские попечения!..

Она так близко подошла к ней, а у Вавы волосы были так мягки и сухи, что неизвестно, чем кончилась бы эта история, если б медвежонок в полуфраке не уронил в самое это время десертную тарелку. Марья Степановна перенесла на него всю ярость.

— Кто разбил тарелку? — кричала она хриплым голосом.

— Сама разбилась, — отвечал, по-видимому, вышедший из терпения слуга.

— Как сама! Сама? И ты смеешь мне говорить это — сама! — Остальное она договорила руками, находя, вероятно, что мимика сильнее выражает взволнованное состояние души, чем слово.

Измученная девушка не могла больше выпести: она вдруг зарыдала и в страшном истерическом припадке упала на диван. Мать испугалась, кричала: «Люди, девка, воды, капель, за доктором, за доктором!» Истерический припадок был упорен, доктор не ехал, второй гонец, посланный за ним, привез тот же ответ: «Велено-де сказать, что немножко-де повременить надо, на очень, дескать, трудных родах».

— Тьфу ты, проклятый! Да кому так приспичило родить?

— Прокуроровой кухарке-с, — отвечал посланный.

Только этого и недоставало, чтоб довершить трагическое положение Марьи Степановны; она побагровела; лицо ее, всегда непривлекательное, сделалось отвратительным.

— У кухарки? У кухарки?.. — больше она не могла вымолвить ни слова.

Вошел Карп Кондратьич с веселым и довольным видом: губернатор дружески жал ему руку, ее превосходительство водила показывать ковер, присланный для гостиной из Петербурга, и он, посмотревши на ковер с видом патриархальной простоты, под которую мы умеем прятать лесть и унижение, сказал: «У кого же, матушка Анна Дмитриевна, и быть таким коврам, как не у ваших превосходительств». Он всем этим был очень доволен, особенно ловким ответом своим. И вдруг семейная сцена обрушилась на его голову: дочь

в истерике, жена в исступлении, разбитая тарелка на полу, у Марьи Степановны лица нет и правая ручка как-то очень красна, — почти так же, как левая щека у Терёшки.

— Что за история! Что с Вавой?

— Известно, с дороги; дело девичье, — ответила нежная мать, — где ей вынести сто двадцать верст; говорила — отложить до середы, ну так нет; теперь и лечи.

— Помилуй, в середу не меньше бы было верст.

— Ты все лучше знаешь. А вот этого убийцу Крупова в дом больше не пускай; вот масон-то, мерзавец! Два раза посылала, — ведь я не последняя персона в городе… Отчего? Оттого, что ты не умеешь себя держать, ты себя держишь хуже заседателя; я посылала, а он изволит тешиться надо мной, видишь, у прокурорской кухарки на родинах; моя дочь умирает, а он у прокурорской кухарки… Якобинец!

— Подлец и мерзавец! — заключил предводитель.

Горячий поток слов Марьи Степановны не умолкал еще, как растворилась дверь из передней, и старик Крупов, с своим несколько методическим видом и с тростью в руке, вошел в комнату; вид его был тоже довольнее обыкновенного, он как-то улыбался глазами и, не замечая того, что хозяева не кланяются ему, спросил:

— Кому нужна здесь моя помощь?

— Моей дочери!

— А! Вере Михайловне? Что с ней?

— Дочь мою зовут Варварой, а меня Карпом, — не без достоинства заметил предводитель.

— Извините, извините; да, ну что же у Варвары Кирилловны?

— Да прежде, батюшка, — перебила дрожащим от бешенства голосом Марья Степановна, — успокойте, что, кухарка-то прокурорская родила ли?

— Хорошо, очень хорошо, — возразил с энергией Крупов, — это такой случай, какого в жизнь не видал. Истинно думал, что мать и ребенок пропадут; бабка пренеловкая, у меня и руки стары, и вижу нынче плохо. Представьте, пуповина…

— Ах, батюшка, да он с ума сошел; стану я такие мерзости слушать! Да с чего вы это взяли! У меня в деревне своих баб круглым числом пятьдесят родят ежегодно, да я не узнаю всех гадостей. — При этом она плюнула.

Крупов насилу сообразил, в чем дело. Он всю ночь провозился с бедной родильницей, в душной кухне, и так еще был весь под влиянием счастливой развязки, что не понял сначала тона предводительши. Она продолжала:

— Да что, прокурор-то платит вам, что ли, так уж густо, что вы не могли бабы его оставить на минуту, когда с моей дочерью чуть смерть не приключилась?

— Ни на одну минуту, сударыня, ни на одну минуту не мог — ни для вашей дочери, ни для кого другого. Да, видно, она не очень и больна: вы не торопитесь вести меня к ней. Я знал это.

Это замечание озадачило нежных родителей; но мать скоро оправилась и возразила:

— Ей лучше, да я и не подпущу вас теперь к моей дочерней рук-то, верно, вы не вымыли.

— Признаюсь, господин доктор, — прибавил предводитель, — такого дерзкого поступка и такого дерзкого ему объяснения я от вас не ожидал, от старого, заслуженного доктора. Если бы не уважение мое к кресту, украшающему грудь вашу, то я, может быть, не остался бы в тех пределах, в которых нахожусь. С тех пор как я предводителем, — шесть лет минуло, — меня никто так не оскорблял.

— Да помилуйте, если в вас нет искры человеколюбия, так вы, по крайней мере,

сообразите, что я здесь инспектор врачебной управы, блюститель законов по медицинской части, и я-то брошу умирающую женщину для того, чтоб бежать к здоровой девушке, у которой мигрень, истерика или что-нибудь такое — домашняя сцена! Да это противно законам, а вы сердитесь!

Карп Кондратьич, в дополнение, был трус величайший; ему показалось, что в словах доктора лежит обвинение в вольнодумстве; у него в глазах поголубело, и он поторопился ответить:

— Не знал, видит бог, не знал; перед властью закона я немею. Да вот Вава сама встает.

Крупов подошел к ней, посмотрел, взял руку, покачал головой, сделал два-три вопроса и, — зная, что без этого его не выпустят, — написал какой-то вздорный рецепт и, прибавивши: «Пуще всего спокойствие, а то может быть худо», — ушел.

Испуганная истерикой, Марья Степановна немного сделалась помягче; но когда до нее дошел слух о Бельтово, у нее сердце так и стукнуло, и стукнуло с такой силой, что болонка, лежавшая у нее постоянно шестой год на коленях вместе с носовым платком и с маленькой табакеркой, заворчала и начала нюхать и отыскивать, кто это прыгает. — Бельтов — вот жених! Бельтов — его-то нам и надо!

Разумеется, Бельтов сделал Карпу Кондратьичу визит; на другой день Марья Степановна протурила мужа платить почтение, а через неделю Бельтов получил засаленную записку, с сильным запахом бараньего тулупа, приобретенным на груди кучера, принесшего ее; содержание ее было следующее:

«Дубасовский уездный предводитель дворянства и супруга его покорнейше просят Владимира Петровича сделать им честь откушанием у них обеденного стола, завтра в три часа».

Бельтов с ужасом прочел приглашение и, бросив его на стол, думал: «Что им за охота звать? Денег стоит много, все они скупы, как кощеи, скука будет смертная… а делать нечего, надобно ехать, а то обидится».

За два дни до обеда начались репетиции и приготовления Вавы; мать наряжала ее с утра до ночи, хотела даже заставить ее явиться в каком-то красном бархатном платье, потому что оно будто бы было ей к лицу, но уступила совету своей кузины, ездившей запросто к губернаторше и которая думала, что она знает все моды, потому что губернаторша обещала ее взять на будущее лето с собой в Карлсбад, — С вечера Марья Степановна приказала принести миндальные отруби, оставшиеся от приготовляемого на завтра блан-манже, и, показавши дочери, как надобно этими отрубями тереть шею, плечи и лицо, начала торжественным тоном, сдерживая очевидное желание перейти к брани.

— Вава, — говорила она, — если бог мне поможет выдать тебя за Бельтова, все мои молитвы услышаны, я тогда тебе цены не буду знать; утешь же ты мать свою; ты не бесчувственная какая-нибудь, не каменная; неужели этого не можешь сделать? — Как не понравиться мужчине, молодому? Да и что здесь девиц, что ли, очень много: две, три — да и обчелся; красавицы-то хваленые — председательские дочки, по мне, прегадкие, да и, говорят, перемигиваются с какими-то секретаришками. А потом, что за фамилия их — отец выслужился из повытчиков казенной палаты. Кабы у тебя амбиции было хоть на волос, то на смех им надобно бы… Они, бесстыдницы, мимо его квартиры в открытой коляске шныряют, да нет — надежда плоха: вот теперь я распинаюсь, а ведь она смотрит, как деревянная; наградил же меня господь за мои прегрешения куклой вместо дочери!

— Маменька, маменька, — говорила полушепотом Вава с каким-то отчаянием во взгляде, — что же мне делать, я не могу иначе; да рассудите сами, я не знаю совсем этого человека, да и он, может быть, на меня не обратит вовсе никакого внимания. Не броситься

же мне к нему на шею.

— Грубиянка эдакая! Да кто тебе говорит — броситься на шею… так ты эдак хочешь исполнить волю матери… не видала никогда! Что, у тебя мать дура или пьяная какая, что не умеет выбрать тебе жениха! Царевна какая!

Она остановилась, боясь разобидеть ее до слез, от которых завтра глаза будут красны.

Пришел наконец день испытания; с двенадцати часов Ваву чесали, помадили, душили; сама Марья Степановна затянула её, и без того худенькую, корсетом и придала ей вид осы; зато, с премудрой распорядительностью, она умела кой-где подшить ваты — и все была не вполне довольна: то ей казался ворот слишком высок, то что у Вавы одно плечо ниже другого; при всем этом она сердилась, выходила из себя, давала поощрительные толчки горничным, бегала в столовую, учила дочь делать глазки и буфетчика накрывать стол и проч. Труден был этот день для Марьи Степановны — но много может любовь матери!

Понятно, что все это очень хорошо и необходимо в домашнем обиходе; как ни мечтай, но надобно же подумать о судьбе дочери, о ее благосостоянии; да то жаль, что эти приготовительные, закулисные меры лишают девушку прекраснейших минут первой, откровенной, нежданной встречи — разоблачают при ней тайну, которая не должна еще быть разоблачена, и показывают слишком рано, что для успеха надобна не симпатия, не счастье, а крапленые карты. Эти приготовления опошляют отношения, которые только тогда и могут быть истинны и святы, когда они не опошлены. Строгие моралисты, пожалуй, прибавят, что все подобные меры более могут развратить сердце девушки, нежели так называемые падения, — в такую глубь мы не пускаемся. Да и притом, как ни толкуй, а дочерей надобно замуж выдавать, они только для этого и родятся; в этом, я думаю, согласны все моралисты.

В три часа убранная Вава сидела в гостиной, где уж с половины третьего было несколько гостей и поднос, стоявший перед диваном, утратил уже половину икры и балыка, как вдруг вошел лакей и подал Карпу Кондратьичу письмо. Карп Кондратьич достал из кармана очки, замарал им стекла грязным платком и, как-то, должно быть, по складам, судя по времени, проитавши записку в две строки, возвестил голосом, явно не спокойным:

— Маша, Владимир Петрович просит извинить его, он нездоров, простудился и при всем желании не может приехать. Человеку скажи, что очень, дескать, жаль.

Марья Степановна изменилась в лице и бросила на дочь такой взгляд, как будто она простудила Бельтова. Вава торжествовала. Никогда Марья Степановна не казалась смешнее: она до того была смешна, что ее становилось жаль. Она возненавидела Бельтова от всего сердца и от всего помышления. «Это просто афронт», — бормотала она про себя.

— Кушанье подано, — сказал лакей. Губернский предводитель повел Марью Степановну в столовую.

Недели через две после этого происшествия Марья Степановна занималась чаем; она, оставаясь одна или при близких друзьях, любила чай пить продолжительно, сквозь кусочек, с блюдечка, что ей нравилось, между прочим, и тем, что сахару выходило по этой методе гораздо меньше. Перед нею сидела на стуле какая-то длинная, сухая женская фигура в чепчике, с головою, несколько качавшеюся, что сообщало оборке на чепце беспрерывное колебание; она вязала шерстяной шарф на двух огромных спицах, глядя на него сквозь тяжелые очки, которых обкладка, сделанная, впрочем, из серебра, скорее напоминала пушечный лафет, чем вещь, долженствующую покоиться на носу человека; затасканный темный капот, огромный ридикюль, из которого торчали еще какие-то спицы, показывали, что эта особа — свой человек, и притом — небогатый человек;

последнее всего яснее можно было заметить по тону Марьи Степановны. Старуху эту звали Анной Якимовной. Она была хорошего дворянского происхождения и с молодых лет вдова: имение ее состояло из четырех душ крестьян, составлявших четырнадцатую часть наследства, выделенного ей родственниками ее, людьми очень богатыми, которые, взойдя в ее вдовье положение, щедрой рукой нарезали для нее и для ее крестьян болото, обильное дупелями и бекасами, но не совсем удобное для мирных занятий хлебопашеством.

При всех стараниях Анны Якимовны большого оброку с такого имения получить было невозможно. Наследство, полученное ею от своего супруга, было тоже не велико: оно состояло из подполковничьего чина, из единственного сына и из собрания рецептов, как лечить лошадей от шпата, сапа и проч., на каждом рецепте был написан поразительный пример успеха. Сын был отправлен лет девятнадцати в какой-то полк, но воротился вскоре в родительский дом, высланный из службы за пьянство и буйные поступки. С тех пор он жил во флигеле дома Анны Якимовны, тянул сивуху, настоянную на лимонных корках, и беспрестанно дрался то с людьми, то с хорошими знакомыми; мать боялась его, как огня, прятала от него деньги и вещи, клялась перед ним, что у нее нет ни гроша, особенно после того, как он топором разломал крышку у шкатулки ее и вынул оттуда семьдесят два рубля денег и кольцо с бирюзою, которое она берегла пятьдесят четыре года в знак памяти одного искреннего приятеля покойника ее. Сверх крестьян и рецептов, у Анны Якимовны были три молодые горничные, одна старая и два лакея. Молодых девок она никогда не одевала, а, что всего замечательнее, они были всегда хорошо одеты. Анна Якимовна с удовольствием видела, что они успевают вырабатывать себе на платье, несмотря на то, что с утра до ночи сама занимала их работой, — и благоразумно молчала, замечая кой-какие непорядки. Лакеи — два уродливые старика, жившие единственно вину, были и половине с горничными и, сверх того, шили на полгорода козловые башмаки с сильным запахом. Разумеется, Яким Осипович также не упускал случая сводить свои счеты, пользуясь — слабостями человеческой натуры.

Почтенная глава этого патриархального фаланстера допивала четвертую чашку чаю у Марьи Степановны; она успела уже повторить в сотый раз, как за нее сватался грузинский князь, умерший генерал-аншефом, как она в 1809 году ездила в Питер к родным, как всякий день у ее родных собирался весь генералитет: и как она единственно потому не осталась там жить, что невская вода ей не по вкусу и не по желудку. Докончивши аристократические воспоминания вместе с четвертой чашкой чаю, она вдруг начала, громко опрокидывая чашку (это был фальшивый сигнал) и положивши на донышко крошечный кусочек сахару:

— Да, матушка, Марья Степановна, вот кабы меня гоеподь сподобил увидеть Варвару Карповну вашу пристроенною — так, хоть бы как вы, Марья Степановна; не могу более желать; сердце радуется на ваше семейство: дом — полная чаша, уважение такое отовсюду. Право, хорошо бы, успокоило бы вас!

— Что вы это опрокинули чашку, выкушайте еще.

— Право, довольно; я обыкновенно пью три чашки, а у вас четыре выпила; покорнейше благодарю; чай у вас отменный.

— Да, я уж всегда говорю, по-моему, рубль передать на фунт — ничего не значит, да уж только чтоб был чай. Берите-ка чашку. — И Анна Якимовна принялась за пятую.

— Конечно, все в божией власти, Анна Якимовна, но, ведь Вава оченно молода, куда ей замуж теперь; да и, признаться, какие женихи, погубят девку; а когда подумаю, как с ней расстаться, я не переживу, истинно не переживу.

— И, матушка, господь с тобой. Кто же не отдавал дочерей, да и товар это не таков, чтоб на руках держать: залежится, пожалуй. Нет, по-моему, коли мать пресвятая богородица благословит, так хорошо бы составить авантажную партию. Вот Софьи-то Алексеевны сынок приехал; он ведь нам доводится в дальнем свойстве; ну, да ведь нынче родных-то плохо знают, а уж особенно бедных; а должно быть, состояньице хорошее, тысячи две душ в одном месте, имение устроенное.

— Да человек-то каков? Вам всё деньги дались, а богатство больше обуза, чем счастие, — заботы да хлопоты; это все издали кажется хорошо, одна рука в меду, другая в патоке; а посмотрите — богатство только здоровью перевод. Знаю я Софьи Алексеевны сына; тоже совался в знакомство с Карпом Кондратьевичем; мы, разумеется, приняли учтиво, что ж нам его учить, — ну, а уж на лице написано: преразвращенный! Что за манеры! В дворянском доме держит себя точно в ресторации. Вы видели его?

— Видала издали, на улице: он частенько ездит мимо меня и пешком прохаживает.

— Да куда же это мимо вас он ходит?

— Не знаю, матушка, мне ли в мои лета и при тяжких болезнях моих (при этом она глубоко вздохнула) заниматься, кто куда ходит, своей кручины довольно… Пред вами, как перед богом, не хочу таить: Якиша-то опять зашалил — в гроб меня сведет… — Тут она заплакала.

— Что бы вам посоветоваться с крестовоздвиженским церковным старостою: удивительно лечит; возьмет простого пенного, поговорит над ним, даст хлебнуть больному и сам остальное выпьет, больше ничего, а тому так и начнут бесенята казаться и разные адские наваждения, — ну как рукой и снимет!

— Да ведь небось дорого попросит; знаете наше состояние.

— Нет, он лечил нашего повара, всего дали синенькую.

— Да помог ли?

— Помочь-то помог; он было опять стал припадать, так Карп Кондратьич другого лекарства закатил: «Ты, говорит, боярских милостей не понимаешь; я пять рублей пролечил на тебя, а ты не выздоровел, мошенник!» Ну, и, знаете, по-русски; с тех пор и не пьет. Я вам пришлю старосту. Ну, а уж я не вытерпела бы, узнала бы, куда это шляется этот молодчик.

— Да и я сама как-то спросила свою Василиску — ведь она такая бойкая у меня… так, от безделья молвила, куда, мол, ездит вот этот барин мимо нас; а она на другой же день мне и докладывает: «Изволили мне вчера молвить, куда бельтовский барин ездит: он все в дохтуром, с стариком, к учителю негровскому ездит».

— С Круповым, к негровскому учителю? — спросила Марья Степановна, едва скрывая приятное волнение, в котором сама себе не могла дать отчета.

— Да, матушка, он ведь здесь в этой нимназии служит, этому учит…

— А, так вот куда он похаживает; я с самого начала его считала преразвращенным, и чему дивить? Учитель его с малолетства постриг в масонскую веру, — ну, какому же быть пути? Мальчишка без надзору жил во французской столице, ну, уж по имени можете рассудить, какая моральность там… Так это он за негровской-то воспитанницей ухаживает, прекрасно! Экой век какой!

— Жаль, вчуже жаль, Марья Степановна, бедного мужа; говорят, человек солидный. А она — уж такое происхождение! Скольких я видала на своем веку, — холопская кровь скажется!

— Ну, и Семен-то Иванович, роля очень хороша! Прекрасно! Старый грешник, бога б побоялся; да и он-то масонишка такой же, однокорытнику и помогает, да ведь, чай, какие

берет с него денежки? За что? Чтоб погубить женщину, И на что, скажите, Анна Якимовна, на что этому скареду деньги? Один, как перст, ни ближних, никого; нищему копейки не подаст; алчность проклятая! Иуда искариотский! И куда? Умрет, как собака, в казну возьмут!

Разговор продолжался еще с четверть часа в том же духе и направлении, после чего Анна Якимовна, в жару разговора выпившая еще три чашки чаю, стала собираться домой, сняла очки, уложила их в футляр и послала в переднюю спросить, пришел ли Максютка проводить ее, и, узнавши, что Максютка тут, встала. Давно Марья Степановна не принимала ее так ласково; она проводила ее даже до самой передней, где небритый Максютка, пресмешной старик лет шестидесяти, грязный и пропахнувший простым вином, одетый в фризовую шинель с черным воротником, держал одной рукой заячий салоп Анны Якимовны, а другой укладывал в карман тавлинку. Максютка был очень не в духе: он только было готовился запереть дамку и уже поставил грязный палец на шашку, чтобы ее двинуть, как барыня отворила дверь. «Ворона проклятая», — бормотал он грубо, надевая салоп на сухие плечи вдовствующей Анны Якимовны.

— Вот у меня дурачок, не могу научить салопа подать, — заметила барыня.

— Пора нас со двора, наберите себе ученых, — бормотал Максютка.

— Вот, матушка, вдовье положенье; ото всего терплю, от последнего мальчишки. Что сделаешь — дело женское; если б был покойник жив, что бы я сделала с эдаким негодяем… себя бы не узнал… Горькая участь, не суди вам бог испытать ее!

Речь эта не тронула Максютку; он, ведя под руку свою барыню с лестницы, успел обернуться к провожавшим людям и подмигнуть, указывая на Анну Якимовну, что доставило истинное и продолжительное удовольствие дворне дубасовского предводителя.

Предоставляю читателям вообразить всю радость и все удовольствие доброй Марьи Степановны, услышавшей такую новость и получившей явную возможность пустить скандальную историю не только о Бельтове, но и о Крупове. По дороге приходилось, правда, раздавить репутацию женщины, как-то жаль, но что делать? Есть важные случаи, в которых личности человеческие приносятся на жертву великим планам.

IV

В то самое время, когда почтенная вдова Анна Якимовна кушала чай у не менее почтенной Марьи Степановны и они с тем нежным вниманием, свойственным одному женскому сердцу, занимались Бельтовым, — Бельтов, чрезвычайно грустный, сидел, с своей стороны, в своем нумере, тоскливо думая о чем-то очень грустном я тяжелом. Будь он одарен ясновидением, ему было бы легко утешиться, он ясно услышал бы, что не далее как через большую и нечистую улицу да через нечистый и маленький переулок две женщины оказывали родственное участие к судьбам его, и из них одна, конечно, без убийственного равнодушия слушала другую; но Бельтов не обладал ясновидением; по крайней мере, если б он был не испорченный западным нововведением русский, он стал бы икать, и икота удостоверила бы его, что там, — там, где-то… вдали, в тиши его поминают; но в наш век отрицанья икота потеряли свой мистический характер и осталась жалким гастрическим явлением.

Хандра Бельтова, впрочем, не имела ни малейшей связи с известным разговором за шестой чашкой чаю; он в этот день встал поздно, с тяжелой головой; с вечера он долго читал, но читал невнимательно, в полудремоте, — в последние дни в нем более и более развивалось какое-то болезненное не по себе, не приходившее в ясность, но располагавшее к тяжелым думам, — ему все чего-то недоставало, он не мог ни на чем сосредоточиться; около часу он докурил сигару, допил кофей, и, долго думая, с чего начать день, со чтения или с прогулки, он решился на последнее, сбросил туфли, но вспомнил, что дал себе слово по утрам читать новейшие произведения по части политической экономии, и потому надел туфли, взял новую сигару и совсем расположился заняться политической экономией, но, по несчастию, возле ящика с сигарами лежал Байрон; он лег на диван и до пяти часов читал — «Дон-Жуана». Когда он посмотрел на часы, окончивши чтение, он очень удивился, что так поздно, позвал своего камердинера, велел приготовить одеваться как можно скорее; впрочем, и удивление, и приказ были больше инстинктивны, потому что он никуда не сбирался и ему было совершенно все равно — шесть ли часов утра или двенадцать ночи. Одевшись с тою тщательностью и чистотою, к которой мы привыкаем, долго живши за границей, и от которой скоро отвыкаем в провинции, он, твердый в намерении заняться политической экономией, лег на то же место и развернул какую-то английскую брошюру об Адаме Смите. А камердинер развернул небольшой стол и начал его накрывать. Судьба улыбнулась камердинеру больше, нежели его патрону; Григорий преспокойно накрыл стол, поставил графин с водою и бутылку с лафитом, поставил на другой стол графинчик с абсентом и сыр, потом спокойно осмотрел сделанное и, убедившись, что все поставлено на месте, отправился за супом и через минуту принес — только не суп, а письмо.

— Откуда? — спросил Бельтов, не сводя глаз с брошюрки об Адаме Смите.

— Должно быть, из чужих краев: штемпель не наш, да еще объявление на посылку.

— Дай сюда, — и Бельтов бросил брошюру. — «От кого б это было, — думал он, — не понимаю; из Женевы… разве… нет — скорее… нет…»

Конечно, легче было бы распечатать письмо и на конце четвертой странички прочитать, от кого оно, нежели отгадывать. Без сомнения. Отчего же все делают подобные гадания над письмом? Это — тайна сердца человеческого, основанная, впрочем, на том, что лестно человеку признать себя догадливым и проницательным.

Наконец Бельтов снял пакет и стал читать письмо; с каждой строчкой его лицо

делалось бледнее, и слезы навернулись на глазах его.

Письмо это было от племянника m-r Жозеф; он извещал Бельтова о смерти старика. Жизнь этого простого, благородного существа, так, как текла, тихо и ясно, так и потухла. Он был много лет главным учителем в сельской школе, недалеко от Женевы. Дня два ему нездоровилось, на третий казалось лучше; едва переставляя ноги, он отправился в учебную залу; там он упал в обморок, его перенесли домой, пустили ему кровь, он пришел в себя, был в полной памяти, простился с детьми, которые молча стояли, испуганные и растерянные, около его кровати, звал их гулять и прыгать на его могилу, потом спросил портрет Вольдемара, долго с любовью смотрел на него и сказал племяннику! «Какой бы человек мог из него выйти… да, видно, старик дядя лучше знал… Отошли этот портрет к Вольдемару после… адрес у меня в портфельке, в старом, на котором портрет Вашингтона… жаль Вольдемара… очень жаль…»

«Тут, — писал племянник, — больной начал бредить, лицо его приняло задумчивое выражение последних минут жизни; он велел себя приподнять и, открывши светлые глаза, хотел что-то сказать детям, но язык не повиновался. Он улыбнулся им, и седая голова его упала на грудь. Мы схоронили его на нашем сельском кладбище между органистом и кистером».

Бельтов прочитал письмо, положил его — на стол, отер слезу, прошелся по комнате, постоял у окна, снова взял письмо, прочел его от доски до доски. «Удивительный человек! Удивительный человек! — бормотал он сквозь зубы. — Пресчастливый человек, умел довольствоваться, умел трудиться, был полезным на всяком месте, куда судьба его ни бросала… Теперь на всем земном шаре у меня мать и более никого… никого… Хоть изредка дойдет, бывало, весть о старике, и хорошо, ну, просто я бывал доволен сознанием, что он существует. И его нет! Фу, как тяжело все это. Право, если б вперед говорили условия, мало нашлось бы дураков, которые решились бы жить».

— Суп простынет, Владимир Петрович, — доложил камердинер, с участием видевший, что содержание письма было не из приятных.

— Григорий, — спросил Бельтов, — помнишь учителя, который жил у нас?

— Как не помнить-с швейцарца-то-с.

— Он скончался, — сказал Бельтов и отвернулся от Григорья, чтоб скрыть волнение.

— Царство ему небесное! — прибавил Григорий. — Добрый был человек и с нашим братом прост; мы вот недавно говорили с Максим Федоровым, что у маменьки служит в буфетчиках, то есть о вас. Признаться доложить, Максим Федорович не надивится на вас; я, по вашей милости, насмотрелся на разные нации и на тамошние порядки, ну, а он больше все в губернии проживал, ему и удивительно. «Конечно, говорит, добрая душа у них, врожденная, барынина. Ну и, то есть и от учителя было чему заняться; бывало, я помню, перед, деревенским мальчишкой, который поклонится, приказывает Владимиру Петровичу картузик снять; такой же де образ и подобие божие есть».

Бельтов промолчал и грустно принялся за суп.

Весть о смерти Жозефа естественным образом вызвала в памяти Бельтова всю его юность, а за нею и всю жизнь. Он вспомнил поучения Жозефа, как жадно внимал он им, как верил и как все оказалось в жизни совсем не так, как в словах Жозефа, — и… странное дело! — все говоренное им было прекрасно, истинно, истинно направо и налево и совершенно ложно для него, Бельтова. Он сравнивал себя тогдашнего и себя настоящего; ничего не было общего, кроме нити воспоминаний, связывавших эти два разные лица. Тот — полный упований, с религией самоотвержения, с готовностию на тяжкие подвиги, на безвозмездные труды, и этот, уступивший внешним обстоятельствам, без надежд,

ищущий чего-нибудь для развлечения. Когда Григорий принес портрет с почты, Бельтов разрезал поскорее клеенку и с большим нетерпением вынул его… Он переменился в лице, взглянув на черты, бывшие некогда его чертами, он чуть не отвернулся от них… Тут было представлено все, что бродило у него в голове. Как свежо, светло было отроческое лицо это, — шея раскрыта, воротник от рубашки лежал на плечах, и какая-то невыразимая черта задумчивости пробегала по устам и взору, — той неопределенной задумчивости, которая предупреждает будущую мощную мысль; «как много выйдет из этого юноши», — сказал бы каждый теоретик, так говорил мсье Жозеф, — а из него вышел праздный турист, который, как за последний якорь, схватился за место по дворянским выборам в NN. «Тогда, — думал Бельтов, глядя с упреком на портрет, — тогда мне было четырнадцать лет, теперь мне за тридцать — и что впереди? Одна серая мгла, скучное, однообразное продолжение впредь; начать новую жизнь поздно, продолжать старую невозможно. Сколько начинаний, сколько встреч… и все окончилось праздностью и одиночеством…»

Нить горьких мыслей прервал Семей Иванович; они продолжались в форме разговора.

— Что состояние здоровья, Владимир Петрович?

— А! — Здравствуйте, Семен Иванович; очень рад вас видеть; такая тоска, такая скука, что мочи нет. Я, право, нездоров; во мне что-то вроде лихорадки, очень небольшой, но беспрерывно поддерживающей меня в каком-то напряженном состоянии.

— Вы ведете неправильный образ жизни, — возразил Крупов, заворачивая длинный рукав на сюртуке, чтоб основательно пощупать пульс. — Пульс нехорош. Вы живете вдвое скорее, чем надобно, не жалеете ни колес, ни смазки — долго так ехать нельзя.

— Я сам чувствую, что морально и физически разрушаюсь.

— Раненько. Нынешнее поколение быстро живет; надобно бы вам, впрочем, серьезно позаняться здоровьем, взять свои меры.

— Какие тут меры?

— Очень много. Ложитесь вовремя спать, вставайте раньше, меньше чтения, меньше думать, больше гулять, разгоняйте печальные мысли, вина пить немного, крепкий кофе совсем бросить.

— Вам кажется все это легко, особенно разгонять мысли… И надолго ли вы меня обрекаете такой диете?

— На всю жизнь.

— Покорнейший слуга, это и скучно, и противно, да и хлопотать не из чего.

— Как не из чего? Мне кажется, что стоит принесть кой-какую жертву для того, чтоб достигнуть глубокой старости, для того, чтоб долее прожить.

— Ну, а для чего же долго жить?

— Странный вопрос! Ну, да как для чего, я не знаю, для чего; ну, жить, все же лучше жить, нежели умереть; всякое животное имеет любовь к жизни.

— Если ж найдется такое, которое не имеет? — заметил, горько улыбаясь, Бельтов. — Байрон очень справедливо сказал, что порядочному человеку нельзя жить больше тридцати пяти лет. Да и зачем долгая жизнь? Это, должно быть, очень скучно.

— Вы всё из проклятых немецких философов начитались таких софизмов.

— В этом случае позвольте мне защитить немцев; я человек русский и жизнию обучился думать, а не думою жил. Благо мы дошли с вами до этого вопроса; скажите добросовестно, подумавши, что будет пользы, если я проживу не десять, а пятьдесят лет, кому нужна моя жизнь, кроме моей матери, которая сама очень ненадежна? По слабости ли сил, по недостатку ли характера, но дело в том, что я — бесполезней человек, и, убедившись в этом, я полагаю, что я один хозяин над моей жизнию; я еще не настолько

разлюбил жизнь, чтоб застрелиться, и уж не люблю ее настолько, чтоб жить на диете, водить себя на помочах, устранять сильные ощущения и вкусные блюда для того, чтоб продлить на долгое время эту жизнь больничного пациента.

— Вы предпочитаете хроническое самоубийство, — возразил Крупов, начинавший уже сердиться, — понимаю, вам жизнь надоела от праздности, — ничего не делать, должно быть, очень скучно; вы, как все богатые люди, не привыкли к труду. Дай вам судьба определенное занятие да отпими она у вас Белое Поле, вы бы стали работать, положим, для себя, из хлеба, а польза-то вышла бы для других; так-то все на свете и делается.

— Помилуйте, Семен Иванович, неужели вы думаете, что, кроме голода, нет довольно сильного побуждения на труд? Да просто желание обнаружиться, высказаться заставит трудиться. Я из одного хлеба, напротив, не стал бы работать, — работать целую жизнь, чтобы не умереть о голоду, и не умирать с голоду, чтоб работать, — умное и полезное препровождение времени!

— Что же вы, с вашей сытостью и желанием высказаться, много наделали? — спросил совсем уже рассерженный старик.

— Тут-то и запятая. Уж, конечно, я не по охоте избрал жизнь праздную и утомительную для меня. Ученым специалистом я не родился, так, как не родился музыкантом; а остальные дороги, кажется, для меня не родились…

— То есть вы себя этим утешаете; земля вам коротка, мало места; воли-то твердой нет, настойчивости нет, gutta cavat…

— Lapidem, — окончил Бельтов. — Вы человек положительный, а туда же толкуете о воле.

— Красно-то вы говорите, красно, — заметил Крупов, — а все мне сдается, что хороший работник без работы не останется.

— Да что же вы думаете, эти лионские работники, которые умирают голодной смертью с готовностью трудиться, за недостатком работы не умеют ничего делать или из ума шутят? Ох, Семен Иванович! Не торопитесь, осуждать и не торопитесь прописывать душевное спокойствием конский щавель: первое невозможно, а второе не может помочь. Мало болезней хуже сознания бесполезных сил. Какая тут диета! Вспомните Наполеонов ответ доктору Антомарки: «Это не рак, взошедший внутрь, а Ватерлоо, взошедшее внутрь». У каждого есть свое Waterloo rentre! Пойдемте-ка, Семен Иванович, к Круциферским, у них я раза два вылечивался от хандры; подобные средства помогают лучше всех декоктов.

— Вот и жди от вас спасибо да призвания! А кто вам прописал их дом?

— Виноват, виноват, забыл! О, вы величайший из сынов Гиппократа, Семен Иванович! — отвечал Бельтов, накладывая сигары и добродушно улыбаясь доктору.

Да что же наконец, — спросим мы вместе с Марьей Степановной, — что влекло Бельтова в скромный дом учителя? Нашел ли он друга в нем, человека симпатичного, или, в самом деле, не влюблен ли он в его жену? Ему самому отвечать на эти вопросы, при всем желании сказать истину, было бы очень трудно. Его многое сблизило с этим домом. Выборы кончились с своими обедами и балами. Бельтова, как разумеется, ни во что не избрали, и он оставался в NN только для окончания какого-то процесса в гражданской палате. Предоставляем вам оценить всю величину скуки для этого человека в NN, если б он не был знаком с Круциферскими. Тихая, безмятежная жизнь Круциферских представляла нечто новое и привлекательное для Бельтова; он провел всю жизнь в общих вопросах, в науке и теории, в чужих городах, где так трудно сближаться с домашнею жизнию, и в Петербурге, где ее немного. Он домашнее довольство считал вымыслом или

достоянием людей пошлых и мелких. Круциферские не были таковы. Характер Круциферского определить трудно: натура нежная и любящая до высшей степени, натура женская и поддающаяся, он имел столько простосердечия и столько чистоты; что его нельзя было не полюбить, хотя чистота его и сбивалась на неопытность, на неведение ребенка. Трудно было бы сыскать человека, более не знающего практическую жизнь; он все, что знал, знал из книги, и оттого знал неверно, романтически, риторически; он свято верил в действительность мира, воспетого Жуковским, и в идеалы, витающие над землей. Из затворничества студентской жизни, в продолжение которой он выходил в мир страстей и столкновений только в райке московского театра, он вышел в жизнь тихо, в серенький осенний день; его встретила жизнь подавляющей нуждой, все казалось ему неприязненный; чуждым, и молодой кандидат приучался более и более находить всю отраду и все успокоение в мире мечтаний, в который он убегал от людей и от обстоятельств. Та же внешняя нужда загнала его в дом Негрова; эта встреча с действительностию еще более сосредоточила его. Кроткий от природы, он, и не думал вступить в борьбу с действительностию, он отступал от ее напора, он просил только оставить. его в покое; но явилась любовь, так, как она является в этих организациях: не бешено, не безумно, но на веки веков, но с таким отданием себя, что уж в груди не остается ничего неотданного. Нервная раздражительность поддерживала его беспрерывно в каком-то восторженно меланхолическом состоянии; он всегда готов был плакать, грустить — он любил в тихие вечера долго-долго смотреть на небо, и кто знает, какие видения чудились ему в этой тишине; он часто жал руку своей жене и смотрел на нее с невыразимым восторгом; но к этому восторгу примешивалась такая глубокая грусть, что Любовь Александровна сама не могла удержаться от слез. Во всех его действиях была та же кротость, что и на лице, то же спокойствие, та же искренность и та же робкая задумчивость. Нужно ли говорить, как такой человек должен был любить свою жену? Любовь его росла беспрерывно, тем более что ничто не развлекало его; он не мог двух часов провести, не видавши темно-голубых глаз своей жены, он трепетал, когда она выходила со двора и не возвращалась в назначенный час; словом, ясно было видна, что все корни его бытия были в ней. К этому много способствовал мир, в который он попал.

Учителя NN-ской гимназии были, как это бывало в старину в наших школах, люди большею частию оболенившиеся, огрубевшие в провинциальной жизни, отданные тяжелым материальным привычкам и усыпившие всякое желание знать что-нибудь. Не думаем, чтоб Круциферский имел призвание вести далее науку, отдаться ее вопросам вполне и сделать из них свои жизненные вопросы, но он им сочувствовал., ему было многое доступно… кроме средств. Самому выписывать книги нечего было и думать, гимназия приобретала, но не такие, которые могли бы поддержать интерес в молодом ученом. Провинциальная жизнь вообще гибельна для тех, которые хотят сохранить не одно недвижимое имение, и для тех, которые не хотят делать неудободвижимым свое тело; при совершенном отсутствии всякого теоретического интереса кто не заснет если не сладким, то долгим сном в этой обители душевной дремоты?.. Человеку необходимы внешние раздражения; ему нужна газета, которая бы всякий день приводила его в соприкосновение со всем миром, ему нужен журнал, который бы передавал каждое движение современной мысли, ему нужна беседа, нужен театр, — разумеется, от всего этого можно отвыкнуть, покажется, будто все это и не нужно, потом сделается в самом деле совершенно не нужно, то есть в то время, как сам этот человек уже сделался совершенно не нужен. Круциферский далеко не принадлежал к тем сильным и настойчивым людям, которые создают около себя то, чего нет; отсутствие всякого

человеческого интереса около него действовало на него более отрицательно, нежели положительно, между прочим, потому, что это было в лучшую эпоху его жизни, то есть тотчас после брака. А потом он привык, остался при своих мечтах, при нескольких широких мыслях, которым уж прошло несколько лет, при общей любви к науке, при вопросах, давно решенных. Удовлетворения более действительным потребностям души он искал в любви, и в сильной натуре своей жены он находил все. Споры с Круповым, продолжавшиеся года четыре, получили тот же характер провинциальной стоячести: они в эти годы переговаривали ежедневно одно и то же. Круциферский являлся на защиту спиритуализма, и старик Крупов грубо и с негодованием, бил его своим медицинским материализмом. Этим-то тихим руслом журчала жизнь наших приятелей, когда вдруг взошло в нее лицо совсем иного закала, лицо чрезвычайно деятельное внутри, раскрытое всем современным вопросам, энциклопедическое, одаренное смелым и резким мышлением. Круциферский невольно покорился энергической сущности нового приятеля; зато Бельтов, с своей стороны, далеко не остался изъят от влияния жены Круциферского. Сильной натуре, не занятой ничем особенно, почти невозможно оборониться от влияния энергической женщины; надобно быть или очень ограниченным, или очень ячным, или совершенно бесхарактерным, чтоб тупо отстоять свою независимость перед нравственной властью, являющейся в прекрасном образе юной женщины, — правда, что, пылкий от природы, увлекающийся от непривычки к самообузданию, Бельтов давал легкий приз над собою всякой кокетке, всякому хорошенькому лицу. Он много раз был до безумия влюблен то в какую-нибудь примадонну, то в танцовщицу, то в двусмысленную красавицу, уединившуюся у минеральных вод, то в какую-нибудь краснощекую и белокурую немку с притязанием на мечтательность, готовую всегда любить по Шиллеру и поклясться при пении соловья в вечной любви здесь и там, — то в огненную француженку, верную наслажденью и разгулу без лицеприятия… но такого влияния Бельтов не испытывал.

С начала знакомства Бельтов вздумал пококетничать с Круциферской; он приобрел на это богатые средства, его трудно было запугать аристократической обстановкой или ложной строгостью; уверенный в себе, потому что имел дело с очень не трудными красотами, ловкий и опасна дерзкий на язык, он имел все, чтоб оглушить совесть провинциалки, но догадливый Бельтов тотчас оставил пошлое ухаживание, поняв, что на такого зверя тенеты слишком слабы. Женщина, явившаяся перед ним в этой глуши, была так проста, так наивно естественна и так полна силы и ума, что у Бельтова прошла очень скоро охота интриговать ее. Трудно было на нее сделать нападение, потому что она вовсе не оборонялась, не становилась en garde; другое отношение, более человечественное, быстро сблизило Круциферскую с Бельтовым. Круциферская поняла его грусть, поняла ту острую закваску, которая бродила в нем и мучила его, она поняла и шире и лучше в тысячу раз, нежели Крупов, например, — понявши, она не могла более смотреть на него без участия, без симпатии, а, глядя на него так, она его более и более узнавала, с каждым днем раскрывались для нее новые и новые стороны этого человека, обреченного уморить в себе страшное богатство сил и страшную ширь понимания. Бельтов тотчас оценил разницу, добросовестно-нравоучительного участия Крупова, романтического сочувствия, готового разделить слезу, Дмитрия Яковлевича, с тем верным тактом, который он видел в Круциферской, Много раз, когда они четверо, сидели в комнате, Бельтову случалось говорить внутреннейшие убеждения свои; он их, по привычке утаивать, по склонности, почти, всегда приправлял иронией или бросал их, вскользь; его слушатели по большей части не отзывались, но когда он бросал тоскливый взгляд на Круциферскую, легкая

улыбка пробегала у него по лицу, — он видел, что понят; они незаметно становились, — досадно сравнить, а нечего делать, — в то положение, в котором находились некогда Любонька и Дмитрий Яковлевич в семье Негрова, где прежде, нежели они друг другу успели сказать два слова, понимали, что понимают друг друга. Этого рода симпатий нечего ни развивать, ни подавлять; они просто выражают факт, братственного развития в двух лицах, где бы и как бы ни встретились эти лица; если они узнают друг друга, если они поймут родство свое, то каждый пожертвует, если обстоятельства потребуют, всеми низшими степенями родства в пользу высшего.

— Отгадайте, кто это? — сказал Вельтов, подавая портрет свой Любови Александровне.

— Да это вы! — почти вскрикнула Любовь Александровна и вся вспыхнула в лице. — Ваши глаза, ваш лоб… Как вы были хороши юношей! Какое беззаботное и смелое лицо…

— Много надобно храбрости, чтоб решиться самому для сличения принести женщине свой портрет, деланный более нежели за пятнадцать лет, но мне смертельно хотелось его показать вам, чтоб вы сами увидели:

Таков ли был я, расцветая?

Я, право, удивляюсь, как вы узнали: ни одной черты не осталось.

— Узнать можно, — отвечала Круциферская, не сводя глаз с портрета. — Как это вы его давню не принесли!

— Я сегодня только получил его: мой добрый Жозеф умер с месяц тому назад; его племянник прислал мне этот портрет с письмом.

— Ах, бедный Жозеф! Я считаю его в числе близких знакомых, по вашим рассказам.

— Старик умер среди кротких занятий своих, и вы, которые не знали его в глаза, и толпа детей, которых он учил, и я с матерью — помянем его с любовью и горестью. Смерть его многим будет тяжелый удар. В этом отношении я счастливее его: умри я, после кончины моей матери, и я уверен, что никому не доставлю горькой минуты, потому что до меня нет никому дела.

Говоря это очень искренно, Бельтов немного и пококетничал: ему хотелось вызвать Любовь Александровну на какой-нибудь теплый ответ.

— Вы этого не думаете сами, — отвечала Круциферская, пристально взглянув на Бельтова; он опустил глаза.

— Ну, вот уж после смерти мне совершенно все равно, кто будет плакать и кто хохотать, — заметил Крупов.

— Я с вами не согласен, — присовокупил Круциферский, — я очень понимаю весь ужас смерти, когда не только у постели, но и в целом свете нет любящего человека, и чужая рука холодно бросит горсть земли и спокойно положит лопату, чтоб взять шляпу и идти домой. Любонька, когда я умру, приходи почаще ко мне на могилу, мне будет легко…

— Да, очень легко, это правда, — с досадой ввернул Крупов, — так что и на химических весах не свешаешь…

— И будто у вас нет других друзей, кроме Жозефа? — спросила Круциферская, — может ли это быть?

— Было множество, самых пламенных, самых преданных, мало ли что было! У меня лицо было вот какое, а теперь совсем другое. Да, впрочем, друзей не нужно: дружба — милая, юношеская болезнь; беда тому, кто не умеет сам себя довлеть.

— Однако же Жозеф, сколько я знаю, остался до конца жизни близок с вами.

— Потому что мы жили далеко друг от друга; мы с ним были дружны, потому что раз виделись в пятнадцать лет. И при этом мелькнувшем свидании я заслонил воспоминаниями замеченную мною разность нашу.

— Так вы видели его после того, как он отправился в Швецию?

— Один раз.

— Где?

— В местах, где он кончил жизнь.

— И давно?

— С год тому назад.

— Вот, вместо ваших мрачных слов, лучше расскажите нам ваше свидание с стариком.

— С большим удовольствием; мне хочется им заниматься, мне весело говорить об нем. Дело было вот как.

В начале прошлого года я приехал из южной Франции в Женеву. Зачем? Трудно объяснить. Мне не хотелось ехать в Париж, потому что я там ничего не успевал делать и потому что я там постоянно страдал завистью: все кругом заняты, хлопочут из дела, из вздора, а я читаю в кофейных газеты и хожу благосклонным, но посторонним зрителем. В Женеве я прежде не был; город тихий, в стороне, а потому я и избрал ее зимней квартирой; я собирался там заняться политической экономией и на досуге обдумать, что делать на будущее лето и куда ехать. Само собою разумеется, что на другой или на третий день я уже справлялся у лонлакеев, у банкиров, везде, не знает ли, не слыхал ли кто о господине Жозефе. Никто не имел о нем понятия; один старик часовщик говорил, что он, точно, знал Жозефа, который учился с ним вместе и ушел в Петербург, но что после этого он не видал его.

Раздосадованный, я бросил мои поиски; занятья не клеились, дело было ранней весною, погода стояла ясная и прохладная; скитальческая жизнь моя оставила во мне страсть к бродяжничеству: я решился сделать несколько маленьких путешествий пешком по окрестностям Женевы. Дорога имеет на меня страшное влияние: я оживаю на дороге, особенно пешком или верхом. Экипаж стучит, развлекает, присутствие возчика разрушает одиночество; но один, верхом или с палкой в руке, идешь, идешь; дорога ниткой вьется перед глазами, куда-то пропадая, и никого вокруг, кроме деревьев, да ручья, да птицы, которая спорхнет и пересядет… удивительно хорошо! Иду я раз таким образом в нескольких милях от Женевы, долго шел я один… вдруг с боковой дороги вышли на большую человек двадцать крестьян; у них был чрезвычайно жаркий разговор, с сильной мимикой; они так близко шли от меня и так мало обращали внимания на постороннего, что я мог очень хорошо слышать их разговор: дело шло о каких-то кантональных выборах; крестьяне разделились на две партии, — завтра надобно было подать окончательные голоса; видно было, что вопрос, их занимавший, поглощал их совершенно: они махали руками, бросали вверх шапки. Я сел под дерево, ватага избирателей прошла, и долго еще доносились до меня отрывки демагогических речей и консерваторских возражений. Меня всегда терзает зависть, когда я вижу людей, занятых чем-нибудь, имеющих дело, которое их поглощает… а потому я уже был совершенно не в духе, когда появился на дороге новый товарищ, стройный юноша, в толстой блузе, в серой шляпе с огромными полями, с котомкой за плечами и с трубкой в зубах; он сел под тень того же дерева; садясь, он дотронулся до края шляпы; когда я ему откланялся, он снял свою шляпу совсем и стал обтирать пот с лица и с прекрасных каштановых волос. Я улыбнулся, поняв осторожность моего соседа: он потому не снял прежде шляпы, чтоб я не подумал, что это для меня. Посидевши, молодой человек обратился ко мне и спросил:

— Куда идет ваша дорога?

— Мне труднее отвечать вам, нежели вы думаете; я просто иду куда глаза глядят.

— Вы, верно, иностранец?

— Я русский.

— У! Из какой дали… чай, у вас теперь страшные морозы?..

Известное дело, что ни один иностранец не может говорить о России, не упомянув о морозе и о скорой почтовой езде, несмотря на то что пора было убедиться, что ни особенно страшных морозов нет, ни сказочной езды.

— Да, теперь в Петербурге зима.

— А как вам нравится наш климат? — спросил швейцарец с гордостью.

— Хорош, — отвечал я. — Вы здешний уроженец?

— Да, я родился недалеко отсюда и иду теперь из Женевы на выборы в нашем местечке; я еще не имею права подать голос в собрании, но зато у меня остается другой голос, который не пойдет в счет, но который, может быть, найдет слушателей. Если вам все равно, пойдемте со мной; дом моей матери к вашим услугам, с сыром и вином; а завтра посмотрите, как наша сторона одержит верх над стариками.

«Ого, да это радикал!» — подумал я, снова окинув глазами моего соседа.

— Пойдемте к вам, — сказал я ему, подавая руку, — мне все равно.

— Вам, чай, любопытно посмотреть на выборы: ведь у вас дома выборов нет?

— Кто это вам сказал? — отвечал я. — У вас в школе, верно, был прескверный учитель географии; очень много, напротив: и дворянские, и купеческие, и мещанские, и сельские, даже в помещичьих деревнях начальник называется выборным.

Юноша покраснел.

— Я учился географии давно, — сказал он, — и не очень долго. А учитель наш, несмотря на все уважение, которое имею к вам, отличнейший человек; он сам был в России, и, если хотите, я познакомлю вас с ним; он такой философ, мог бы быть бог знает чем и не хочет, а хочет быть нашим учителем.

— Очень благодарен, — отвечал я, не имея ни малейшего желания видеться с каким-нибудь полевым педантом.

— А он, точно, был в вашей стороне.

— Где же?

— В Петербурге и в Москве.

— А как его фамилия?

— Мы его зовем pere Joseph.

— Père Joseph! — повторил я, не веря ушам своим.

— Ну, да что ж тут удивительного? — возразил мой товарищ.

Довольно сказать, после двух-трех вопросов я совершенно убедился, что père Joseph — именно мой Жозеф. Мы удвоили шаги. Молодой человек не мог довольно нарадоваться, что доставил мне такое неожиданное удовольствие, и еще более тому, что он доставит его и Жозефу, которого любил и уважал безмерно. Я расспрашивал его об образе жизни старика и из всех подробностей увидел, что он остался тот же, простой, благородный, восторженный, юный; я понял из рассказа, что я обогнал Жозефа в совершеннолетии, что я старее его. Прошло пять лет с тех пор, как он принял на себя должность старшего учителя и заведывателя школы; он делал втрое больше, нежели требовали его обязанности, имел небольшую библиотеку, открытую для всего селения, имел сад, в котором копался в свободное время с детьми. Когда мы остановились перед чистеньким домиком школьного учителя, ярко освещенным заходящими лучами солнца и удвоенным

отражением высокой горы, к которой домик прислонялся, — я послал вперед моего товарища, чтоб не слишком взволновать старика нечаянностию, и велел сказать, что один русский желает его видеть. Père Joseph был в саду и отдыхал на скамеечке, опираясь на заступ. Он встрепенулся при слове «Россия» и поспешными шагами шел мне навстречу; я бросился в его объятия. Первое, что поразило меня, — это оскорбительная сила разрушения, лежащая во времени, — десяти лет не прошло с тех пор, как я его не видал, — и какая перемена! Он потерял почти все волосы, лицо его осунулось, походка не была так тверда, и он уже ходил сгорбившись, одни глаза были так же юны, как и в прежнее время. Не могу вам выразить радости, с которой он встретил меня: старик плакал, смеялся, делал наскоро бездну вопросов, — спрашивал, жива ли моя ньюфаундлендская собака, вспоминал шалости; привел меня, говоря, в беседку, усадил отдыхать и отправил Шарля, то есть моего спутника, принести из погреба кружку лучшего вина. Признаюсь, что я вряд когда-либо пил с таким наслаждением отличнейшее клико, с каким я поглощал стакан за стаканом кисленькое винцо Жозефа. Я был одушевлен, юн, счастлив; но старик вскоре окончил мое превосходное расположение духа вопросом:

— Что же ты делал все это время, Вольдемар?

Я рассказал ему всю историю моих неудач и закончил тем, что, конечно, жизнь моя могла бы лучше разыграться, но я не раскаиваюсь; если я потерял юношеские верования, зато приобрел взгляд трезвый, может, безотрадный, грустный, но зато истинный.

— Вольдемар, — возразил старик, — бойся предаваться слишком трезвому взгляду, — как бы он не охладил твоего сердца, не потушил бы в нем любви! Многого я не предвидел в твоей жизни; тяжко тебе было, но не должно же тотчас класть оружие; достоинство жизни человеческой в борьбе… награду надобно выстрадать.

Я уж тогда смотрел попроще на дела житейские, однако слова старика сильно подействовали на меня.

— Скажите-ка, père Joseph, лучше что-нибудь о себе, как вы провели эти годы? Моя жизнь не удалась, побоку ее. Я точно герой наших народных сказок, которые я, бывало, переводил вам, ходил по всем распутьям и кричал: «Есть ли в поле жив человек?» Но жив человек не откликался… мое несчастье!.. А один в поле не ратник… Я и ушел с поля и пришел к вам в гости.

— Рано, рано сдался, — заметил старик, качая головой. — Что я могу рассказывать о себе? Моя жизнь идет тихонько. Оставивши ваш дом, я жил в Швеции, потом уехал с одним англичанином в Лондон, года два учил его детей; но мой образ мыслей так расходился, с мнениями почтенного лорда, что я оставил его. Мне захотелось домой, и я прямо оттуда приехал в Женеву; в Женеве я не нашел никого, кроме мальчика, сестрина сына. Думал, думал, что начать под конец жизни, — а тут открылось место учителя в здешней школе, я принял его и чрезвычайно доволен моими занятиями. Нельзя, да и не нужно всем выступать на первый план; делай каждый свое в своем кругу, — дело везде найдется, а после работы спокойно заснешь, когда придет время последнего отдыха. Наша жажда видных и громких общественных положений показывает великое несовершеннолетие наше, отчасти неуважение к самому себе, которые приводят человека в зависимость от внешней обстановки. Поверь, Вольдемар, что это так.

В этом тоне разговор наш продолжался с час.

Тронутый свиданьем, я был чрезвычайно восприимчив, чрезвычайно хорошо настроен; мне были доступны все юные, полузабытые мечты. Я смотрел на лицо Жозефа, совершенно спокойное, безмятежное, и мне стало тяжело за себя, меня давило мое совершеннолетие, и как он был хорош! Старость имеет свою красоту, разливающую не

страсти, не порывы, но умиряющую, успокаивающую; остатки седых волос его колыхались от вечернего ветра; глаза, одушевленные встречею, горели кротко; юно, счастливо я смотрел на него и вспомнил католических монахов первых веков, так, как их представляли маэстры итальянской школы. И те были юны, думал я, с сединами своими, и он юн, а я стар; зачем же я узнал так много, чего они не знали? Жозеф взял меня за руку, вставая, чтоб идти в комнату, и с глубокой любовью повторил: «Пора домой, Вольдемар, пора домой!» Я остался у него ночевать. Всю ночь меня мучили тысячи проектов и планов. Пример Жозефа был слишком силен: он, — без средств, старик, создал себе, деятельность, он был покоен в ней, — а я, par depit, оставил отечество, шляюсь чужим, ненужным по разным странам и ничего не делаю… На другое утро я объявил старику, что отправляюсь прямо в NN служить по выборам. Старик расплакался и, положивши руку свою мне на голову, сказал: «Ступай, друг мой, ступай. Ты увидишь — человек, прямо и благородно идущий на дело, много сделает, и, — прибавил старик дрожащим голосом, — да будет спокойствие на душе твоей». Мы расстались; я отправился в NN, а он на тот свет. Вот и все. Это было последнее юношеское увлечение; с тех пор я покончил мое воспитание.

Любовь Александровна смотрела на него с глубоким участием; в его глазах, на его лице действительно выражалась тягостная печаль; грусть его особенно поражала, потому что она не была в его характере, как, например, в характере Круциферского; внимательный человек, понимал, что внешнее, что обстоятельства, долго сгнетая эту светлую натуру, насильственно втеснили ей мрачные элементы и что они разъедают ее по несродности.

— Зачем вы приехали сюда? — спросила тихим голосом Круциферская.

— Благодарю вас, душевно благодарю за этот вопрос, — ответил Бельтов.

— Конечно, странно, — заметил Дмитрий Яковлевич, — просто непонятно, зачем людям даются такие силы и стремления, которых некуда употребить. Всякий зверь ловко приспособлен природой к известной форме жизни. А человек… не ошибка ли тут какая-нибудь? Просто сердцу и уму противно согласиться в возможности того, чтоб прекрасные силы и стремление давались людям для того, чтоб они разъедали их собственную грудь. На что же это?

— Вы совершенно правы, — с жаром возразил Бельтов, — и с этой точки вы не выпутаетесь из вопроса. Дело в том, что силы сами по себе беспрерывно развиваются, подготовляются, а потребности на них определяются историей. Вы, верно, знаете, что в Москве всякое утро выходит толпа работников, поденщиков и наемных людей на вольное место; одних берут, и они идут работать, другие, долго ждавши, с понурыми головами плетутся домой, а всего чаще в кабак; точно так и во всех делах человеческих: кандидатов на все довольно — занадобится истории, она берет их; нет — их дело, как промаячить жизнь. Оттого-то это забавное à propos всех деятелей. Занадобились Франции полководцы — и пошли Дюмурье, Гош, Наполеон со своими маршалами… конца нет; пришли времена мирные — и о военных способностях ни слуху ни духу.

— Но что же делается с остальными? — спросила грустным голосом Любовь Александровна.

— Как случится; часть их потухает и делается толпой, часть идет населять далекие страны, галеры, доставлять практику палачам; разумеется, это не вдруг, — сначала они делаются трактирными удальцами, игроками, потом, смотря по призванию, туристами по большим дорогам или по маленьким переулкам. Случится по дороге услышать клич — декорации переменяются: разбойника нет, а есть Ермак, покоритель Сибири. Всего реже выходят из них тихие, добрые люди; их беспокоят у домашнего очага едкие мысли.

Действительно, странные вещи приходят в голову человеку, когда у него нет выхода, когда жажда деятельности бродит болезненным началом в мозгу, в сердце и надобно сидеть сложа руки… а мышцы так здоровы, а крови в жилах такая бездна… Одно может спасти тогда человека и поглотить его… это встреча… встреча с…

Он не договорил.

Любовь Александровна вздрогнула.

— Экая беспорядочная голова! — заметил Крупов. — Чего он тут не наговорил; хаос, истинно хаос!.. Ну, нечего сказать, славный кандидат в заседатели или в уездные судьи! Все улыбнулись.

V

Между, прочими достопримечательностями города NN особенного внимания заслуживает публичный сад. В богатой природе средней полосы нашего отечества публичные сады совершенная роскошь; от этого ими никто не пользуется, то есть в будни, а, что касается до воскресных и праздничных дней, то вы можете встретить весь город от шести часов вечера до девяти в саду; но в это время публика сбирается не для саду, а друг для друга.

Если начальник губернии в хороших отношениях с полковым командиром, то в эти дни являются трубы или большой барабан с товарищами, смотря по тому, какое войско стоит в губернии; и увертюра из «Лодоиски» и «Калифа Багдадского» вместе с французскими кадрилями, напоминающими незапамятные, времена греческого освобождения и «Московского телеграфа», увеселяют слух купчих, одетых по-летнему — в атлас и бархат, и тех провинциальных барынь, за которыми никто не ухаживает, каких, впрочем, моложе сорока лет почти не бывает. В будни, как мы сказали, сады бывают пусты; разве какой-нибудь заезжий в отчаянье, что нет лошадей, в отчаянье, что и этот город похож на все остальные, отправится в сад в надежде найти хоть какой-нибудь посредственный вид. Давно замечено поэтами, что природа до отвратительной степени равнодушна к тому, что делают люди на ее спине, не плачет над стихами и не хохочет над прозой, а делает свое дело по крайнему разумению. Природа точно так поступила и в NN и вовсе не смотрела на то, что по саду никто не гулял; а кто и гулял, тот обращал внимание не на деревья, а на превосходную беседку в китайско-греческом вкусе; действительно, беседка была прекрасна в своем роде; начальница губернии весьма удачно ее назвала — Монрепо. Она была особенно успокоительна тем, что вырезанная из жести пряничная лошадка, состоявшая в должности дракона и посаженная на шпице, беспрестанно вертелась, издавая какой-то жалобный вопль, располагавший к мечтам и подтверждавший, что ветер, который снес на левую сторону шляпу, действительно дует с правой стороны: сверх дракона, между колоннами были приделаны нечесаные и пресердитые львиные головы из алебастра, растрескавшиеся от дождя и всегда готовые уронить на череп входящему свое ухо или свой нос. Несмотря на этот плач дракона и на эту опасность погибнуть от львов, как в Даниловой пещере, равнодушная природа превосходно разрослась, особенно по боковым аллеям, и это не от скромности, а оттого, что прежний губернатор велел подрезать на большой аллее старые липы; ему казалось несовместным с буквальным исполнением обязанности такое своеволие липовых сучьев. Лишенные верхушек своих, липы, с торчащими к небу ветвями, сбивались на колодников, которым обрили полголовы в предупреждение побега, и, казалось, титановски повторяли стих Озерова:

Есть боги, — а земля злодеям предана.

Но зато по маленьким дорожкам деревьям была воля вольная расти сколько душе угодно или сколько соку хватит. На одной-то из них, в теплый апрельский день, пришедший, вероятно, для того в NN, чтоб жители потом поняли весь холод мая, следующего за ним, какая-то дама в белом бурнусе прогуливалась с кавалером в черном пальто… Сад был разбит по горе; на самом высоком месте стояли две лавочки, обыкновенно иллюстрированные довольно отчетливыми политипажами неизвестной

работы; частный пристав, сколько ни старался, не мог никак поймать виновников и самоотверженно посылал перед всяким праздником пожарного солдата (как привычного к разрушениям) уничтожать художественные произведения, периодически высыпавшие на скамейке. Дама и кавалер сели на нее. Вид был недурён. Большая (и с большою грязью) дорога шла каймою около сада и впадала в реку; река была в разливе; на обоих берегах стояли телеги, повозки, тарантасы, отложенные лошади, бабы с узелками, солдаты и мещане; два дощаника ходили беспрерывно взад и вперед; битком набитые людьми, лошадьми и экипажами, они медленно двигались на веслах, похожие на каких-то ископаемых многоножных раков, последовательно поднимавших и опускавших свои ноги; разнообразные звуки доносились до ушей сидевших: скрип телег, бубенчики, крик перевозчиков и едва слышный ответ с той стороны, брань торопящихся пассажиров, топот лошадей, устанавливаемых на дощанике, мычание коровы, привязанной за рога к телеге, и громкий разговор крестьян на берегу, собравшихся около разложенного огня. Дама и кавалер прервали свои речи в молча смотрели и слушали даль… Отчего все это издали так сильно действует на нас, так потрясает — не знаю, но знаю, что дай бог Виардо и Рубини, чтоб их слушали всегда с таким биением сердца, с каким я много раз слушал какую-нибудь протяжную и бесконечную песню бурлака, сторожащего ночью барки, — песню унылую, перерываемую плеском воды и ветром, шумящим между прибрежным ивняком. И мало ли что мне чудилось, слушая монотонные, унылые звуки; мне казалось, что этой песнью бедняк рвется из душной сферы в иную; что он, не давая себе отчета, оглашает свою печаль; что его душа звучит, потому что ей грустно, потому что ей тесно, и проч. и проч. Это было в мою молодость!

— Как хорошо здесь… — сказала наконец дама в белом бурнусе. — Сознайтесь, что и северная природа прекрасна?

— Как везде. Где бы ни взглянул человек и когда бы ни взглянул на природу, на жизнь с раскрытой душой, прямо, бескорыстно — они дадут бездну наслаждения.

— Это правда. Всем на свете можно любоваться, если только хочешь. Мне часто приходит в голову странный вопрос: отчего человек умеет всем наслаждаться, во всем находить прекрасное, кроме в людях?

— Понять можно отчего, но от этого не легче будет. Мы вносим в наших отношениях с людьми заднюю мысль, которая тотчас убивает самой дрянной прозой поэтическое отношение. Человек в человеке всегда видит неприятеля, с которым надобно драться, лукавить и спешить определить условия перемирья. Какое ж тут наслаждение? Мы с этим выросли, и отделаться от этого почти невозможно; в нас во всех есть мещанское самолюбие, которое заставляет оглядываться, осматриваться; с природой человек не соперничает, не боится ее, и оттого нам так легко, так свободно в одиночестве; тут совершенно отдаемся впечатлениям; пригласите с собой самого близкого приятеля, и уже не то.

— Я вообще мало встречаю людей, особенно таких, которые бы мне были близки; но думаю, что есть, что может быть, по крайней мере, такое сочувствие между лицами, что все внешние препятствия непониманья пали между ними, они не могут помешать друг другу ни в каком случае жизни.

— Я сомневаюсь в продолжительной полноте такого сочувствия; это все говорится только. Люди, совершенно сочувствующие, еще не договорились до тех предметов, где они противоположны; но, рано или поздно, они договорятся.

— Всё же, пока они не договорились, могут быть минуты полной симпатии, где они не мешают друг другу наслаждаться и природой и собой.

— В эти-то минуты я только и верю. Это святые минуты душевной расточительности, когда человек не скуп, когда он все отдает и сам удивляется своему богатству и полноте любви. Но эти минуты очень редки; по большей части мы не умеем ни оценить их в настоящем, ни дорожить ими, даже пропускаем их чаще всего сквозь пальцы, убиваем всякой дрянью, и они проходят человека, оставляя после себя болезненное щемление сердца и тупое воспоминание чего-то такого, что могло бы быть хорошо, но не было. Надобно признаться, человек очень глупо устроил свою жизнь: девять десятых ее проводит в вздоре и мелочах, а последней долей он не умеет пользоваться.

— Зачем же терять такие минуты, когда человек знает им цену? На вас лежит двойная ответственность, — заметила Круциферская, улыбаясь, — вы так ясно видите и понимаете.

— Я не только такими мгновениями, я дорожу каждым наслаждением; но ведь это легко сказать: не теряйте такие мгновения; одна фальшивая нота — и оркестр погиб. Как отдаться вполне, когда тут же рядом видишь всякие привидения… грозящие патьцем, ругающиеся…

— Какие? Не собственные ли это капризы? — за-метила Круциферская.

— Какие? — повторил Бельтов, которого голос мало-помалу изменялся от внутреннего движения. — Трудно мне вам объяснить, а для меня это очень ясно, человек так себя забил, что не смеет дать воли ни одному чувству. Послушайте, так и быть, я скажу вам пример, именно тот, который не следовало бы говорить, — но я его скажу… начавши, я не в силах остановить себя. С первых дней нашего знакомства я полюбил вас, — дружба ли это, любовь ли, просто ли сочувствие?.. Но знаю, что вы, ваше присутствие сделались для меня необходимостью. Знаю то, что целые утры я проводил в детском нетерпении, в болезненном ожидании вечера… Приходил наконец вечер, я бежал к вам, задыхаясь от мысли, что я увижу вас; лишенный всего, окруженный со всех сторон холодом, я на вас смотрел как на последнее утешение… поверьте, что на сию минуту, я всего далее от фраз… с волнением переступал я порог вашего дома и входил хладнокровно, и говорил о постороннем, и так проходили часы… для чего эта глупая. комедия?.. Скажу больше: вы не остались равнодушны ко мне; вероятно, иной вечер и вы меня ждали, я видел радость в ваших глазах при моем появлении — и сердце у меня билось в эти минуты до того, что я задыхался, — и вы меня встречали с притворной учтивостью, и вы садились издали, и мы представляли посторонних… зачем?.. Разве на дне моей души, на дне вашей души было что-нибудь такое, чего надобно стыдиться, прятать от глаз людей? Нет! — Чего от глаз людей?.. Еще смешнее: мы скрывали друг от друга нашу близость; теперь в первый раз говорим мы об этом, да и тут, кажется, вполовину скрываем. Самое светлое чувство делается острым, жгучим, делается темным, — чтоб не сказать другого слова, — если его боятся, если его прячут, оно начнет верить, что оно преступно, и тогда оно сделается преступным; в самом деле, наслаждаться чем-нибудь, как вор краденым, о запертыми дверями, прислушиваясь к шороху, — унижает и предмет наслажденья и человека.

— Вы несправедливы, — отвечала Круциферская дрожащим голосом, — я никогда не скрывала моей дружбы к вам, я не имела в этом нужды…

— Так отчего же, скажите, — возразил Бельтов, схватив ее руку и крепко ее сжимая, — отчего же, измученный, с душою, переполненною желанием исповеди, обнаружения, с душою, полной любви к женщине, я не имел силы прийти к ней и взять ее за руку, и смотреть в глаза, и говорить… и говорить… и склонить свою усталую голову на ее грудь… Отчего она не могла меня встретить теми словами, которые я видел на ее устах, но которые никогда их не переходили.

— Оттого, — отвечала Круциферская с какой-то отчаянной энергией, — оттого, что эта

женщина принадлежит другому и любит его… да, да! любит его от души.

Бельтов бросил ее руку.

— Представьте себе, что я именно этого ответа и не ждал, а теперь мне кажется, что другого и сделать нельзя. Однако позвольте, разве непременно вы должны отвернуться от одного сочувствия другому, как будто любви у человека дается известная мера?

— Может быть, но я не понимаю любви к двоим. Муж мой, сверх всего другого, одной своей беспредельной любовью стяжал огромные, святые права на мою любовь.

— Зачем вы начали защищать права вашего мужа? Никто не нападает на них. К тому же вы дурно начали их защищать; да, если его любовь дала ему такие права, отчего же любовь другого, искренняя, глубокая, не имеет никаких прав? Это странно!.. Послушайте, Любовь Александровна, откровенность, откровенность раз в жизни, потом, пожалуй, я совсем не буду ничего говорить, даже уеду, если вы хотите. Вы говорите, что не понимаете возможности любить вашего мужа и еще любить; не понимаете? Сойдите поглубже, в душу вашу и посмотрите, что там делается теперь, сейчас. Ну, имейте же дух признанья, что я прав, скажите, по крайней мере, что вы все это перечувствовали, передумали, ведь я это знаю, — я видел эти думы на вашем челе, в ваших глазах.

— Ах, Бельтов, Бельтов, зачем все это, зачем этот разговор? — говорила Круциферская голосом, исполненным мрачной грусти. — Нам было так хорошо… теперь не будет так… вы увидите.

— То есть пока мы не назвали вещей своими именами? Какое ребячество!

Бельтов грустно качал головою и щурил глаза; лицо его, за минуту вдохновенное и выражавшее бесконечную нежность, приняло свою насмешливую мину.

Со слезами, с ужасом смотрела на него испуганная женщина… Круциферская была поразительно хороша в эту минуту; шляпку она сняла; черные волосы ее, развитые от сырого вечернего воздуха, разбросались, каждая черта лица была оживлена, говорила, и любовь струилась из ее синих глаз; дрожащая рука то жала платок, то покидала его и рвала ленту на шляпке, грудь по временам поднималась высоко, но казалось, воздух не мог проникнуть до легких. Чего хотел этот гордый человек от нее? Он хотел слова, он хотел торжества, как будто это слово было нужно; если б он был юнее сердцем, если б в голове его не обжились так долго мысли горькие и странные, он не спросил бы этого слова.

— Вы ужасный человек, — промолвила наконец бедная Круциферская и подняла робкий взгляд на него.

Он выдержал этот взгляд и спросил:

— Куда это Семен Иванович запропастился? Хотел тотчас прийти. Не ищет ли он нас в других аллеях? Пойдемте к нему навстречу, а то совсем смеркается.

Она не трогалась с места, обиженная тоном последних слов. Помолчавши несколько, она опять подняла взор свой на Бельтова и тихим, умоляющим голосом сказала ему:

— Я стала ниже в ваших глазах, вы забыли, что я простая, слабая женщина, — и слезы лились из глаз ее.

Тут, как всегда, любовь и теплота женщины победили гордую требовательность мужчины, Бельтов, тронутый до глубины души, взял ее руку и приложил к своей груди; она слышала биение его сердца; она слышала, как горячие капли слез падали на ее руку… Он был так хорош, так увлекателен в своей гордой страсти… У ней самой так волновалась кровь, так смутно было в голове и так хорошо, так богато чувствами на сердце, что она в каком-то безотчетном порыве бросилась в его объятия, и ее слезы градом лились на пестрый парижский жилет Владимира Петровича. Почти в ту же минуту раздался голос Семена Ивановича:

— Где вы? — кричал он. — Тут, что ли?

— Здесь, — отвечал Бельтов и подал руку Любови Александровне.

Бельтов был упоен своим счастьем; его дремавшая душа вдруг воскресла со всеми своими силами.

Любовь, доселе сдерживаемая, распахнулась в нем, он чувствовал невыразимое блаженство во всем бытии своем. Как будто он вчера, третьего дня не знал, что он любит и любим. От дома Круциферского он воротился в сад, бросился на ту же скамью, грудь его была так полна, и слезы текли из глаз; он удивлялся, что нашел и столько юности, и столько свежести в себе… Правда; вскоре примешалось что-то неловкое к радостному чувству, что-то такое, что заставляло его морщить лоб; но, воротившись домой, он велел Григорью подать за закуской бутылку шампанского, и неловкое потонуло в нем, а радостное стало еще звонче.

Круциферская, бледная, как смерть, простилась с Бельтовым у своего дома, куда их проводил и Семен Иванович. Она не смела понять, не смела ясно вспомнижь, что было… но одно как-то страшно помнилось, само собою, всем организмом, это — горячий, пламенный, продолжительный поцелуй в уста, и ей хотелось забыть его, и так хорош он был, что она ни за что в свете не могла бы отдать воспоминания о нем. Семен Иванович хотел идти, Круциферская испугалась; она просила его зайти, она боялась одна переступить за порог, ей было страшно.

Они вошли. Дмитрий Яковлич сидел перед столом и внимательно читал какой-то журнал; вид его был, кажется, покойнее и безмятежнее, нежели обыкновенно. Добродушно улыбаясь входящим, он закрыл журнал и, протягивая руку жене, спросил:

— Где вы это загулялись? Я ждал, ждал тебя, даже грустно сделалось.

Рука жены была холодна и покрыта потом, как бывает у при смерти больных.

— Мы были в саду, — отвечал Крупов за нее.

— Что с тобою? — спросил Круциферский. — Какая у тебя рука! Да на тебе, мой друг, лица нет.

— У меня что-то кружится голова; не беспокойся, Дмитрий, я пойду в спальню и выпью воды, это сейчас пройдет.

— Позвольте, позвольте; куда торопиться? Дайте-ка посмотреть; вы забыли, что ли, что я доктор… Что это? Да ей дурно. Дмитрий Яковлевич, посадимте ее на диван; держите так, под руку, под руку… так, так. Я что-то на дороге заметил, что ей не по себе. Весенний воздух, кровь остра, талый лед испаряется всякая дрянь оттаивает… Кабы была под рукой английская горчица, сделать бы синапизмики — маленькие, в ладонь, с черным хлебом и уксусом… Кухарка ваша дома?.. Пошлите-ка к моему Карпу, он знает… просто, так… спросить горчицы… так… и привязать к икрам, а не поможет — еще парочку, пониже плеч, где мясное место.

— Я не больна, я не больна, — повторяла слабым голосом Любовь Александровна, приходя в себя и дрожа всем телом, — Дмитрий, поди сюда ко мне, Дмитрий… я не больна, дай мне твою руку.

— Что с тобой, что с тобой, мой ангел? — спрашивал ее муж, который сам уже успел и занемочь в расплакаться.

Она посмотрела каким-то странно грустным взглядом на него, но не могла сказать, зачем его звала. Он опять спросил ее.

— Дай мне воды да немножко уснуть, и я буду здорова, мой друг.

Часа через два или три Любовь Александровна, наказанная угрызениями совести внутри и горчичниками снаружи за поцелуй Бельтова, лежала на постели в глубоком

летаргическом сне или в забытьи. Потрясение было слишком сильно, организм не выдержал.

А в гостиной на диване лежал совсем одетый Крупов, оставшийся сколько для больной, столько и для Круциферского, растерянного и испуганного. Крупов, чрезвычайно сердясь на пружины дивана, которые, нисколько не способствуя эластичности его, придавали ему свойства, очень близкие той бочке, в которой карфагеняне прокатили Регула, — в четверть часа сладко захрапел с спокойствием человека, равно не обременявшего себе ни совести, ни желудка.

Возле кровати больной горел ночник, сделанный в блюдечке, который бросал довольно яркий круг света на потолок, беспрестанно изменявший величину, колебавшийся и вторивший всем движениям маленького пламени, сожигавшего маленькую светильню. Бледный и потерянный, Круциферский сидел за столиком, на котором стоял ночник. Кому случалось проводить ночи у изголовья трудно больного, друга, брата, любимой женщины, особенно в нашу полновесную зимнюю ночь, тот поймет, что было на душе нервного Круциферского. Тупое, глупое чувство бессилия помочь вместе со страхом будущего и с горячечной напряженностью от бессонницы и устали привели его в какое-то раздраженное состояние. Он беспрестанно приподнимался и смотрел на нее, клал ей руку на лоб, находил, что жар уменьшился, и начинал думать, что не хуже ли это, не бросилась ли болезнь внутрь. Он вставал, переставлял ночник и склянку с лекарством, смотрел на часы, подносил их к уху и, не видавши, который час, клал их опять, потом опять садился на свой стул и начинал вперять глаза в колеблющийся кружок света на потолке, думать, мечтать — и воспаленное воображение чуть не доходило до бреда. «Нет, — думал он, — это нельзя, это невозможно, ну, просто невозможно; как это она одна у меня на свете, она так молода. Бог видит мою любовь, он сжалится над нами. Это пустяки, пройдет; так, холодный, сырой ветер, кровь остра, лед испаряется, да, только весенние простуды страшны, нервная горячка, чахотка… как это до сих пор не умеют лечить чахотки? Страшная болезнь! Впрочем, она опасна до восемнадцати лет; а вот у нашего французского учителя жена тридцати лет, а в чахотке умерла, — да, умерла; ну, если…» И ему так живо представился гроб в гостиной, покрыт покровом, грустное чтение раздается, Семен Иванович стоит печальный возле, Яшу держит нянька, повязанная белым платком. А потом еще что-то страшнее почудилось ему, что и гроба нет, в комнате так прибрано, полы вымыты… только попахивает ладаном. Он встал, близкий к обмороку, и подошел к жене. Щеки ее пылали, она тяжело дышала, болезненный сон сковал ее. Круциферский скрестил руки на груди и горько заплакал… Да! этот человек умел любить, — стоило взглянуть на него; он опустился на колени, взял горячую руку жены и приложил ее к губам своим.

— Нет, — говорил он вслух, — нет, он не возьмет ее, она не оставит меня; что же со мной будет без нее?

И, поднявши глаза к небу, он молился.

Тут вошел Семен Иванович с сильно заспанным видом; левый глаз у него вовсе не хотел открываться, сколько он ни нудил мускул, нарочно затем приставленный к глазу, чтоб его раскрывать.

— Что, начала бредить? А?

— Нет, она спит спокойно.

— Я сам, братец, слышал; во сне, что ли, мне показалось.

— Должно быть, Семен Иванович, вам показалось во сне, — возразил Дмитрий Яковлевич с видом пойманного школьника.

Крупов подошел к постели.

— Жарок есть, а впрочем, кажется, ничего; да вы бы прилегли, Дмитрий Яковлевич, ну, что пользы себя мучить.

— Нет-с, я не лягу, — отвечал Дмитрий Яковлевич.

— Больному воля, — заметил Крупов, зевая и направляя стопы свои к рельефному дивану, на котором преспокойно проспал до половины осьмого — час, в который он вставал ежедневно, несмотря на то — в десять ли вечера он ложился или в семь поутру.

Осмотревши больную, Семен Иванович решил, что это легонькая простудная горячечна, как он выражался, и прибавил, что теперь это в поветрии.

Что было после горячечки, пусть расскажет сама Любовь Александровна; вот отрывок из ее журнала.

«*Мая 18.* Как давно я не писала в этой книге: больше месяца… больше месяца! А иной раз подумаешь, будто годы прошли с того дня, как я занемогла. Теперь, кажется, все прошло, и жизнь опять пойдет тихо, спокойно. Вчера я первый раз выходила из дому. Как я рада была подышать воздухом! Погода была прекрасная… Однако я очень ослабела во время болезни; два или три раза прошла я по нашему палисаднику и до того устала, что у меня закружилась голова. Дмитрий перепугался, но это тотчас прошло. Господи! как он меня любит! Добрый, добрый Дмитрий, как он ходил за мной! Стоило мне ночью раскрыть глаза, пошевельнуться — он уже стоял тут; спрашивал, что мне надобно, предлагал пить. Бедный, он сам похудел, как будто после болезни. Какая способность любви! Надобно иметь каменное сердце, чтоб не любить такого человека. О! Я люблю его, мне было бы невозможно не любить его. То происшествие в саду, оно ничего не значит, болезнь уже приготовлялась, и я была в особом расположении, нервы у меня были раздражены… Вчера я его видела в первый раз после болезни… его голос я слыхала, как сквозь сон, но его не видала. Он был очень взволнован, хотя и скрывал это, голос у него дрожал, когда он мне сказал: «Наконец-то, наконец-то вам лучше». Потом он мало говорил, какая-то мысль его занимала, он раза два провел рукою по лбу, как будто желал стереть ее, но она снова проступала. Ни одного малейшего намека о бывшем, он, верно, понял, что это было болезненное опьянение. Зачем я не рассказала всего Дмитрию? В тот вечер, когда он так кротко протянул мне руку, мне хотелось броситься к нему и все рассказать, но я не имела силы, мне сделалось дурно. Сверх того, Дмитрий так нежен, его это страшно бы огорчило. После я ему скажу непременно.

20 мая. Вчера мы были с Дмитрием в саду, он хотел сесть на той скамейке, я сказала, что боюсь ветра с реки, — мне эта скамейка сделалась страшна; мне казалось, что для Дмитрия будет оскорбительно сидеть на ней. Будто это правда, что можно любить двоих? Не понимаю. Можно и не двоих, а нескольких любить, но тут игра слов; любить любовью можно одного, и ею я люблю моего мужа. А потем я люблю Крупова и не боюсь признаться, что и Бельтова люблю; это такой сильный человек, что я не могу не любить его. Это человек, призванный на великое, необыкновенный человек; из его глаз светится гений. Та любовь и не нужна такому человеку. Что для него женщина? Она пропадает в беспредельной душе его… ему нужна любовь иная. Он страдает, глубоко страдает, и нежная дружба женщины могла бы облегчить эти страдания; ее он всегда найдет во мне, он слишком пламенно понимает эту дружбу, он все пламенно понимает; сверх того, он так не привык к вниманию, к симпатии; он всегда был одинок, душа его, огорченная, озлобленная, вдруг встрепенулась от голоса сочувствующего. Это очень натурально.

23 мая. Бывают иногда странные минуты какого-то беспокойного желания жизни еще полнейшей. Неблагодарность ли это к судьбе, или уж человек так устроен, а я чувствую

часто, особенно с некоторого времени, стремление… очень мудрено это выразить. Я искренно люблю Дмитрия; но иногда душа требует чего-то другого, чего я не нахожу в нем, — он так кроток, так нежен, что я готова раскрыть ему всякую мечту, всякую детскую мысль, пробегающую по душе; он все оценит, он не улыбнется с насмешкой, не оскорбит холодным словом или ученым замечанием, но это не все: бывают совсем иные требования, душа ищет силы, отвагу мысли; отчего у Дмитрия нет этой потребности добиваться до истины, мучиться мыслию? Я, бывало, обращаюсь к нему о тяжелым вопросом, с сомнением, а он меня успокаивает, утешает, хочет убаюкать, как делают с детьми… а мне совсем не того хотелось бы… он и себя убаюкивает теми же детскими верованиями, а я не могу.

24 мая. Яша болеп. Два дня он лежал в жару, сегодня показалась сыпь, Семен Иванович меня обманывает. В десять раз лучше сказать прямо; надобно испугать воображение, а не предоставить ему волю: оно само выдумает еще страшнее, еще хуже. Я не могу прямо в глаза посмотреть Яше, сердце обливается кровью, страдания ребенка ужасны. Как он похудел, бедняжка, как бледен!.. И туда же, чуть выйдет минута полегче, улыбается, просит мячик. Что это за непрочность всего, что нам дорого, страшно вздумать! Так какой-то вихрь несет, кружит всякую всячину, хорошее и дурное, и человек туда попадает, и бросит его на верх блаженства, а потом вниз. Человек воображает, что он сам распоряжается всем этим, а он, точно щепка в реке, повертывается в маленьком кружочке и плывет вместе с волной, куда случится, — прибьет к берегу, унесет в море или увязнет в тине… Скучно и обидно!

26 мая. У него скарлатина. У Дмитрия умерло трое братьев от скарлатины. Семен Иванович печален, сердит, груб и не отходит от Яши. Боже мой, боже мой! Что это такое делается над нами? Дмитрий сам едва ходит; это-то счастие я тебе принесла?

27 мая. Время тащится тихо, все то же; смертный приговор или милость… поскорей бы… Что у меня за страшное здоровье, как я могу выносить все это! Семен Иванович только и говорит: подождите, подождите… Яша, ангел мой, прощай… прощай, малютка!

29 мая. Полтора суток прошло поспокойнее, кризис миновал. Но тут-то и надобно беречь. Все это время я была в каком-то натянутом состоянии, теперь начинаю чувствовать страшную душевную усталь. Хотелось бы много поговорить от души. Как весело говорить, когда нас умеют верно, глубоко понимать и сочувствовать.

1 июня. Все идет хорошо… Кажется, на этот раз туча пропита мимо головы. Яша играл со мной сегодня часа два на своей постельке. Он так ослабел, что не может держаться на ногах. Добрый, добрый Семен Иванович, что за человек!

6 июня. Все успокоилось, Яше гораздо лучше, но я больна, больна, это я чувствую. Сижу иногда у его кроватки, и вместо радости, вдруг, без всякой внешней причины, поднимается со дна души какая-то давящая грусть, которая растет, растет и вдруг становится немою, жестокой болью; готова бы, кажется, умереть. Я в этой суете не имела времени остаться наедине с собою; моя болезнь, болезнь Яши, хлопоты не давали мне ни минуты углубиться в себя. Лишь ехало поспокойнее и лучше, какой-то скорбный, мучительный голос звал меня заглянуть в свое сердце, и я не узнала себя. Вчера после обеда я что-то чувствовала себя дурно, сидела у Яши, положила голову на его подушечку и уснула… Не знаю, долго ли я слала, но вдруг мне сделалось как-то тяжело, я раскрыла глаза — передо мною стоял Бельтов, и никого не было в комнате… Дмитрий пошел давать уроки… Он смотрел на меня, и глаза его были полны слез; он ничего не сказал, он протянул мне руку, он сжал мою руку крепко, больно… и ушел. Зачем же он не сказал ничего?.. Я хотела его остановить, но у меня не было голоса в груди.

9 июня. Он был весь вечер у нас и ужасно весел: сыпал остротами, колкостями, хохотал, шумел, но я видела, что все это натянуто; мне даже казалось, что он выпил много вина, чтоб поддержать себя в этом состоянии. Ему тяжело. Он обманывает себя, он очень невесел. Неужели я, вместо облегчения, принесла новую скорбь в его душу?

15 июня. День был сегодня удушливый, я изнемогала от жары. К обеду собралась гроза, и проливной дождь освежил меня, может, больше, нежели траву и деревья. Мы пошли в сад; на дворе необычайно, было хорошо: деревья благоухали какой-то укрепляющей, влажной свежестью; мне стало легко… Я первый раз вспомнила о тогдашнем дне иначе: в нем много прекрасного… Может ли быть что-нибудь преступное полно прелести, упоения, блаженства?.. Мы шли по той же дорожке. На лавочке кто-то сидел, мы подошли: это был он; я чуть не вскрикнула от радости. Он был очень печален, все слова его были грустны, исполнены горечи и иронии. Он прав — люди сами себе выдумывают терзания; ну, если б он был мой брат, разве я не могла бы его любить открыто, говорить об этом Дмитрию, всем?.. И никому не показалось бы это странно. А он брат мне, я это чувствую… Как мы могли бы прекрасно устроить нашу жизнь, наш маленький кружок из четырех лиц; кажется, и доверие взаимное есть, и любовь, и дружба, а мы делаем уступки, жертвы, не договариваем. Когда мы шли домой, было поздно; месяц взошел. Б. шел возле меня. Что-за странная магнетическая власть взгляда у этого человека! Взгляд Дмитрия тих и спокоен, как небо голубое, а его — волнует, так делается беспокойно, — и потом нет.

Мы мало говорили… только, прощаясь, он мне сказал: «Я много думал об вас все это время и… мне очень бы хотелось поговорить, так на душе много». — «И я думала об вас… прощайте, Вольдемар…» Я сама не знаю, как у меня сорвались эти слова; я никогда его так не называла, но мне казалось, что я не могу его иначе назвать. Он содрогнулся, услышав это название; он наклонился ко мне и с тою нежностью, которая минутами является у него, сказал: «Вы третьи меня так назвали, это меня может тешить как ребенка, я буду этим счастлив дня на два», — «Прощайте, прощайте, Вольдемар», — повторила я. Он хотел что-то сказать, подумал, пожал мне руку, посмотрел в глаза в ушел.

20 июня. Я много изменилась, возмужала после встречи с Вольдемаром; его огненная, деятельная натура, беспрестанно занятая, трогает все внутренние струны, касается всех сторон бытия. Сколько новых вопросов возникло в душе моей! Сколько вещей простых, обыденных, на которые я прежде вовсе не смотрела, заставляют меня теперь думать. Многое, о чем я едва смела предполагать, теперь ясно. Конечно, при этом приходится часто жертвовать мечтами, к которым привыкла, которые так береглись и лелеялись; горька бывает минута расставания с ними, а потом становится легче, вольнее. Мне было бы очень тяжело, если б он уехал. Я не искала его, но случилось так; наши жизни встретились — совсем врозь они идти не могут; он открыл мне новый мир внутри меня. И не странно ли, что этот человек, не нашедший себе нигде ни труда, ни покоя, одиноко объездивший весь свет, вдруг вдесь, в маленьком городишке, нашел симпатию в женщине мало образованной, бедной, далекой от его круга! Он, может, слишком любит меня, — да разве это зависит, от воли? К тому же он столько вынес холоду и безучастия, что готов платить сторицею за всякое теплое чувство. Оставить его тем же одиноким, сделаться чужою ему я не могла бы, это было бы просто грешно… Да! он прав, — и его любовь имеет права!

Последнее время Дмитрий особенно не в духе: вечно задумчив, более обыкновенного рассеян; у него это есть в характере, но страшно, что все это растет; меня беспокоит его грусть, и подчас я дурно объясняю ее…

22 июня. И, кажется, не ошиблась. Вчера Дмитрий был до того мрачен, что я не вынесла

и спросила, что с ним? «У меня болит голова, — ответил он, — мне надобно походить», — и взял свою шляпу. «Пойдем вместе», — сказала я. «Нет, друг мой, не теперь; я пойду очень скоро, ты устанешь», — и он ушел со слезами на глазах. Я не вынесла этого и горько проплакала все время, пока он ходил; он меня застал на том же месте у окна, видел, что я плакала, грустно пожал мне руку и сел. Мы молчали. Потом, спустя несколько минут, он мне сказал: «Любонька, знаешь ли, о чем я думаю? Как хорошо бы в такую теплую, летнюю ночь, где-нибудь в роще, положить голову тебе на колени и уснуть навеки». — «Помилуй, Дмитрий, — сказала я ему, — что это за мрачные мысли; неужели тебе не жаль никого покинуть здесь?» — «Жаль, — отвечал он, — очень жаль и тебя и Яшу; но Семен Иванович говорит, что я только могу повредить воспитанию Яши, да я и сам согласен, что ты лучше воспитаешь его, нежели я. К тому же, друг мой, и там, как здесь, вечная молитва о вас, — молитва, полная веры и упованья, — найдет доступ… Тебе будет меня жаль, я это знаю, друг мой, ты так добра; но ты найдешь силы перенести этот удар, признайся сама». Мне было невыносимо больно слушать его; я из этих слов слышала и видела чувство нехорошее, слезы лились у меня из глаз. Что это такое? Мне начинает казаться, что я созвала какие-то бедствия на нашу жизнь. А между тем совесть моя чиста… Неужели я довела его до такого состояния недостатком любви или… У него лет прежней веры в меня, это я вижу. Неужели в его благородной душе есть место чувству, которого назвать не хочу? Неужели он подозревает, что я разлюбила его и люблю другого? Господи! Как мне объяснить это ему? Я не другого люблю, а люблю его и люблю Вольдемара; симпатия моя с Вольдемаром совсем иная… Странно, мне казалось, что жизнь наша успокоилась, что она пойдет широко, полно, — и вдруг какая-то пропасть раскрылась под ногами… лишь бы удержаться на краю… Тяжело… Если б я умела хорошо, очень хорошо играть на фортепьяно, я извлекла бы те звуки из души, которые не умею высказать; Дмитрий понял бы меня, он понял бы, что внутри меня все чисто. Бедный Дмитрий! Ты страдаешь за беспредельную любовь твою; я люблю тебя, мой Дмитрий! Если б я с самого начала была откровенна с ним, этого бы никогда не было; что за нечистая сила остановила меня? Как только он успокоится, я поговорю с ним и все, все расскажу ему…

23 июня. Семен Иванович, кажется мне, тоже переменился со мной; да что же сделала я?.. Я ничего не понимаю — ни что сделала, ни что сделалось. Дмитрий поспокойнее сегодня; я многое говорила с ним, но не все; были минуты, в которые мне казалось, что он понимает меня, но через минуту я ясно видела, что мы совершенно разно смотрели на жизнь. Я начинаю думать, что Дмитрий и прежде не вполне понимал меня, не вполне сочувствовал, — это страшная мысль!

24 июня. Вечером, поздно. Жизнь! Жизнь! Среди тумана и грусти, середь болезненных предчувствий и настоящей боли вдруг засияет солнце, и так сделается светло, хорошо. Сейчас пошел Вольдемар; долго говорили мы с ним… Он тоже грустен и много страдает, и как понятно мне каждое слово его! Зачем люди, обстоятельства придают какой-то иной характер нашей симпатии, портят ее? Зачем они все это делают?

25 июня. Вчера был Иванов день. Дмитрий был на именинах у одного учителя. Он воротился поздно и нетрезвый; я никогда не видала его в таком положении. Бледный, с растрепанными волосами, неверными шагами ходил он по спальне. «Тебе дурно, мой друг? — сказала я. — Не дать ли тебе воды?» — «Да, — говорил он голосом, задыхающимся от волнения, и с выражением, совершенно чуждым его характеру, — если б ты столько принесла воды, чтоб утопиться можно, я бы поблагодарил тебя». Я глядела прямо в глаза ему, он смешался. — «Не слушай, бога ради, что я вру, — сказал он, испугавшись, вероятно, моего взгляда, — сам не знаю, как выпил лишний стакан вина, от

этого жар, бред… Прощай, мой друг, я отдохну здесь немного», — и он бросился, совсем одетый, на диван и скоро заснул тяжелым сном. Я не спала всю ночь; глубокое страдание выражалось на сонном лице его; иногда он улыбался, но не своей улыбкой… Нет, Дмитрий, меня не обманешь! Ты не случайно выпил лишний стакан вина, ты не в бреду говорил твои слова, а вино только придало тебе жестокости, которой вовсе нет в твоей душе. Что это делается над нашими головами, боже милосердый! Это свыше сил человеческих! Тяжело тебе, бедный Дмитрий! А мне-то видеть его страдания а знать, что причиною всего я!

Через три часа. Не могу еще ничего привесть в порядок, в душе все смутно, как после бури — волны не могут улечься. Кровь стучит в висках, сердце бьется до того, что держу грудь. — Дмитрий! И тебе не грешно так жалко меня понимать?! И как ты, бедный, страдаешь за это! Облегченье ему, облегченье!.. Ах, как кружится голова и горит! Не опять ли горячка? Я говорила с Дмитрием, я требовала от него объяснения его грусти, его поступков, его слов; да, он утратил веру в меня, он никогда не поймет, что во мне делается. Это страшно, потому что я не могу ничего переменить… Все покрывается туманом, в груди трепет, боль; зачем я встретилась с Вольдемаром?

26 июня. Как все странно и перепутано в людских понятиях! Подумаешь иногда и не знаешь: сердиться ли или хохотать. Мне сегодня пришло в голову, что самоотверженнейшая любовь — высочайший эгоизм, что высочайшее смирение, что кротость — страшная гордость, скрытая жесткость; мне самой делается страшно от этих мыслей, так, как, бывало, маленькой девочкой я считала себя уродом, преступницей за то, что не могла любить Глафиры Львовны и Алексея Абрамовича; что же мне делать, как оборониться от своих мыслей и зачем? Я не ребенок. Дмитрий не обвиняет меня, не упрекает, ничего не требует; он сделался еще нежнее. Еще! Вот в этом-то еще и видно, что все это неестественно, не так; и этом столько гордости и унижения для меня и такая даль от пониманья. Он очень страдает, но что же сказать о той женщине, которая за любовь платит отравой? Да, боже мой, хотела ли я этого! Я говорила с ним откровеннее, нежели бы это сделала другая женщина; он, видимо, уступает, но в то же время у него накапливается совсем другое в душе, и он не совладает с этим другим.

27 июня. Его грусть принимает вид безвыходного отчаяния. В те дни после грустных разговоров являлись минуты несколько посветлее. Теперь нет. Я не знаю, что мне делать. Я изнемогаю. Много надобно было, чтоб довесть этого кроткого человека до отчаяния, — я довела его, я не умела сохранить эту любовь. Он не верит больше словам моей любви, ои гибнет. Умереть бы мне теперь… сейчас, сейчас бы умерла!

Я начинаю себя презирать; да, хуже всего, непонятнее всего, что у меня совесть покойна; я нанесла страшный удар человеку, которого вся жизнь посвящена мне, которого я люблю; и я сознаю себя только несчастной; мне кажется, было бы легче, если б я поняла себя преступной, — о, тогда бы я бросилась к его ногам, я обвила бы моими руками его колени, я раскаянием своим загладила бы все: раскаяние выводит все пятна на душе; он так нежен, он не мог бы противиться, он меня бы простил, и мы, выстрадавши друг друга, были бы еще счастливее. Что же это за проклятая гордость, которая не допускает раскаяния в душу? Мне хотелось бы теперь быть одной, где-нибудь вдали, — только бы Яшу взяла с собой; я бродила бы где-нибудь между чужими людьми и окрепла бы… Ты не найдешь, Дмитрий, примирения в своей душе; ах, друг мой, я отдала бы всю кровь мою до последней капли, если б ты мог, хотел понять меня; как тебе было бы хорошо! Ты падешь жертвой твоего восторженного непониманья, я пойду за тобой в эту пропасть, пойду, потому что люблю тебя, потому что подземные силы меня избрали для твоей гибели.

Подчас мне кажется, что два-три слова с Вольдемаром облегчили бы меня, и я боюсь искать случая с ним видеться. Вот что сделали толки! Они успели бросить страх и в меня, успели отравить светлое и благородное чувство. Да отпустится им! Семен Иванович косвенно читал мне мораль… о, добрый Семен Иванович! Мне так жаль его было; ничего не понимает, говорит о святых обязанностях матери… неужели ему не приходит в голову, что я иногда думала об этом?.. Участие людское оскорбительнее людского холода… Дружба считает лучшим правом своим привязать друга к позорному столбу… потом требовать исполнения советов… как бы они ни были противны тому, которому советуют… Ах, как все это мелко! Фу, душно, как в маленькой комнатке, когда все окны закрыты да еще мухи летают!..»

* * *

Если б Бельтов не приезжал в NN, много бы прошло счастливых и покойных лет в тихой семье Дмитрия Яковлевича, конечно, — но это не утешительно; идучи мимо обгорелого дома, почерневшего от дыма, без рам, с торчащими трубами, мне самому приходило иной раз в голову: если б не запала искра да не раздулась бы в пламень, дом этот простоял бы много лет, и в нем бы пировали, веселились, а теперь он — груда камней.

Повесть наша, собственно, кончена; мы можем остановиться, предоставляя читателю разрешить: *кто виноват*? Но есть еще несколько подробностей, которые кажутся нам довольно занимательными; позвольте ими поделиться. Обращаемся сначала к бедному Круциферскому.

Круциферский, вскоре после болезни своей жены, заметил, что какая-то мысль ее сильно занимает; она была задумчива, беспокойна… в ее лице было что-то более гордое и сильное, нежели всегда. Круциферскому приходили разные объяснения в голову, странные, невероятные; он внутренне смеялся над ними, но они возвращались.

Раз как-то она сидела с Яшей; вдруг в передней стукнула дверь, и кто-то спросил: «Дома?» — «Это Бельтов», — сказал Круциферский, поднимая глаза, и глаза его встретили легкий румянец на лице Любови Александровны и оживленный взгляд, который, кажется, был не для него так оживлен. Он содрогнулся и промолчал. Он очень хорошо знал, что жена его была в большой дружбе с Бельтовым, и нисколько не удивлялся этому; но этот взгляд, но эта краска, пробежавшая по ее лицу! «Неужели?» — думал он — и снова посмотрел на то, что делалось. Бельтов ласкал Яшу; но что за взор, исполненный нежности и страсти, он остановил на матери! В этом взоре один слепой не прочел бы любви, любви пламенной и еще более — любви счастливой. Она стояла, потупивши глаза, руки ее немного дрожали, ей, кажется, было очень хорошо. Дмитрий Яковлевич, сказавши несколько слов, вышел в другую комнату. «Неужели это правда?» — спрашивал он себя, испуганный; у него в голове сделался такой сумбур, в ушах стук, что он поскорее сел на кровать; посидевши минут пять, в которые он ничего не думал, а чувствовал какое-то нелепо тяжелое состояние, он вышел в комнату; они разговаривали так дружески, так симпатично, ему показалось, что им вовсе его не нужно. Оп стал ходить по комнате и вспоминать разные мелочи, едва обратившие в свое время внимание, но являвшиеся теперь как доказательства, как подтверждения. Когда Бельтов пошел, она его проводила, она ему улыбнулась, и как улыбнулась! «Да, она его любит». Сознавшись в этом, он с ужасом стал отталкивать эту мысль, но она была упорна, она всплыла; мрачное, безумное отчаяние овладело им. «Вот они, мои предчувствия! Что мне делать? И ты, и ты не

любишь меня!» И он рвал волосы на голове, кусал губы, и вдруг в его душе, мягкой и нежной, открылась страшная возможность злобы, ненависти, зависти и потребность отомстить, и в дополнение он нашел силу все это скрыть. Настала ночь; ему очень хотелось плакать, но не было слез; минутами, сон смыкал его глаза, но он тотчас просыпался, облитый холодным потом; ему снился Бельтов, ведущий за руку Любовь Александровну, с своим взглядом любви; и она идет, и он понимает, что это навсегда, — потом опять Бельтов, и она улыбается ему, и все так страшно; он встал. На дворе рассветало; она спала, лицо ее было покойно; лицо спящего имеет иногда особенную трогательную прелесть, — таково, действительно, в эту минуту было лицо Любови Александровны, и вдруг улыбка показалась на устах. «Она видит его во сне», — подумал Круциферский и посмотрел на нее с такою ненавистью, с таким зверством, что, не имей он миролюбивых привычек нашего века, он задушил бы ее не хуже венецианского мавра; у нас трагедии оканчиваются не так круто. «За эту беспредельную любовь чем она заплатила? О, боже мой, боже мой! — за такую любовь!» — повторял он и как будто желал уйти от себя и от страшных искушений; он подошел к кроватке. — Яша разбросался, подложил ручонку под щеку и крепко спал. «Ты скоро останешься сиротой, — думал, стоя перед ним, Дмитрий Яковлевич, — бедный Яша!.. Я тебе больше не отец, не могу и не хочу перенести этого; бедный ребенок! Поручаю тебя заступнику всех сирот… Как он похож на нее!» — Он заплакал. Слезы, молитва и покойный вид спящего Яши несколько облегчили страдальца; толпа совсем иных мыслей явилась в размягченной душе его. «Да прав ли я, что обвиняю ее? Разве она хотела его полюбить? И притом он… я чуть ли сам не влюблен в него…» И наш восторженный мечтатель, сейчас безумный ревнивец, карающий муж, вдруг решился самоотверженно молчать. «Пусть она будет счастлива, пусть она узнает мою самоотверженную любовь, лишь бы мне ее видеть, лишь бы знать, что она существует; я буду ее братом, ее другом!» И он плакал от умиления, и ему стало легче, когда он решился на гигантский подвиг — на беспредельное пожертвование собою, — и он тешился мыслию, что она будет тронута его жертвой; но это были минуты душевной натянутости: он менее нежели в две недели изнемог, пал под бременем такой ноши.

Не станем винить его; подобные противуестественные добродетели, преднамеренные самозаклания вовсе не по натуре человека и бывают большею частию только в воображении, а не на деле. На несколько дней его стало; но первая мысль, ослабившая его героизм, была холодная и узкая: «Она думает, я ничего не вижу, она хитрит, она притворяется». О ком думал он это? О женщине, которую он так любил, так уважал, которую должен бы был знать — да не знал; потом внутренняя тоска, снедавшая его сама по себе, стала прорываться в словах, потому что слова облегчают грусть, это повело к объяснениям, в которых ни он не умел остановиться, ни Любовь Александровна не захотела бы. Тяжело ему стало после разговоров о нею; он миновал быть с нею с глазу на глаз, и между тем в отшельнической жизни своей они почти всегда были вдвоем. Он пробовал больше заниматься, но ему наука не шла в голову, книга не читалась, или пока глаза его читали, воображение вызывало светлые воспоминания былого, и часто слезы лились градом на листы какого-нибудь ученого трактата. В душе его открылась какая-то пустота, которой пределы словно раздвигались с каждым часом и жить с которой было невозможно. Он стал искать рассеяния. Мы видели в журнале, как он возвратился в Иванов день с вечера ученого друга своего, Медузина.

Кстати, для отдыха от патетических мест пойдемте в ученую беседу Медузина и начнем с того, без чего войти в нее нельзя: познакомимся с почтенным хозяином.

Знакомство это так приятно, что мы отделим его в новую главу.

VI

Иван Афанасьевич Медузин, учитель латинского языка и содержатель частной школы, был прекраснейший человек и вовсе не похож на Медузу — снаружи потому, что он был плешив, внутри потому, что он был полон не злобой, а настойкой. Медузиным его назвали в семинарии, во-первых, потому, что надобно было как-нибудь назвать, а во-вторых, потому, что у будущего ученого мужа волосы торчали все врознь и отличались необыкновенной толщиной, так что их можно было принять за проволоки, но сокрушающая сила времени «и ветер их разнес». Из семинарии Иван Афанасьевич, сверх приятной мифологической фамилии, вынес то прочное образование, которое обыкновенно сопровождает семинаристов до последнего дня их жизни и кладет на них ту самобытную печать, по которой вы узнаете бывшего семинариста во всех нарядах. Аристократические манеры не были отличительным свойством Медузина: он никогда не мог решиться ученикам говорить «вы» и не прибавлять в разговоре слов, мало употребляемых в высшем обществе. Ивану Афанасьевичу было лет пятьдесят. Сначала он был учителем в разных домах, наконец дошел до того, что завел свою собственную школу. Однажды приятель его, учитель, тоже из семинаристов, по прозванию Кафериаумский, отличавшийся тем, что у него с самого рождения не проходил пот и что он в тридцать градусов мороза беспрестанно утирался, а в тридцать жара у него просто открывалась капель с лица, встретив Ивана Афанасьевича в классе, сказал ему, нарочно при свидетелях:

— А ведь кажется, Иван Афанасьич, день тезоименитства вашего, если не ошибаюсь, приближается. Конечно, мы отпразднуем его и ныне по принятому уже вами обыкновению?

— Увидим, почтеннейший, увидим, — отвечал Иван Афанасьевич с усмешкою и на этот раз решился почему-то великолепнее обыкновенного отпраздновать свои именины.

Хозяйство Ивана Афанасьевича не было *монтировано*. Он жил лет пятнадцать безвыездно в NN, но можно было думать, что он только вчера приехал в город и не успел ничего завести. Это было не столько от скупости, сколько от совершенного неведения вещей, потребных для человека, живущего в гражданском обществе. Приготовляясь дать бал, он осмотрел свое хозяйство; оказалось, что у него было шесть чайных чашек, из них две превратились в стаканчики, потеряв единственные ручки свои; при них всех состояли три блюдечка;, был у него самовар, несколько тарелок, колеблющихся на столе, потому что кухарка накупила их из браку, два стаканчика на ножках, которые Медузин скромно называл «своими водочными рюмками», три чубука, заткнутых какой-то грязью, вероятно, чтоб не было сквозного ветра внутри их. Вот и все. А он назвал всех школьных учителей; долго думал он, как быть, и наконец позвал кухарку свою Пелагею (заметьте, что он ее никогда не называл Палагеей, а, как следует, Пелагеей; равно слова «четверток» и «пяток» он не заменял изнеженными «четверг» и «пятница»).

Пелагея была супруга одного храброго воина, ушедшего через неделю после свадьбы в милицию и с тех пор не сыскавшего времени ни воротиться, ни написать весть о смерти своей, чем самым он оставил Пелагею в весьма неприятном положении вдовы, состоящей в подозрении, что ее муж жив. Я имею тысячу причин думать, что толстая, высокая, повязанная платком и украшенная бородавками и очень темными бровями Пелагея имела в заведывании своем не только кухню, но и сердце Медузина, но я вам их не скажу, потому что тайны частной жизни для меня священны. Она явилась. Он объяснил ей свое затруднительное положение.

— Эк ведь лукавый-то вас, — отвечала Пелагея, — а туда же, ученые! Как, прости господи, мальчишка точно неразумный, эдакую ораву назвать, а другой раз десяти копеек на портомойное не выпросишь! Что теперь станем делать? Перед людьми-то страм: точно погорелое место.

— Пелагея! — возразил громким голосом Медузин. — Не употребляй во зло терпение моё; именины править с друзьями хочу, хочу и сделаю; возражений бабьих не терплю.

Влияние Цицерона было бы заметно каждому, но Пелагея, взволнованная вестью о празднике, не думали о Цицероне.

— Конечно, мы и замолчим; дело ваше, хоть в окно бросайте деньги, коли блесир доставляет. Дайте пятьдесят рублей, всего искуплю, кроме напитков.

Пелагея очень хорошо знала, что Медузину не понравится ее ответ, а потому, сказавши это, она с глубоким чувством собственного достоинства подперла одну руку другой, а первой рукой щеку и спокойно ожидала действия своих слов.

— Пятьдесят рублей на эту дрянь! Да ты — того, хватила, что ли, через край? Пятьдесят рублей без напитков! Вздор какой! Баба глупая! Никакого совета не умеет дать! Так ступай же к отцу Иоанникию пригласить его ко мне двадцать четвертого числа и попроси у него посуды на вечер.

— Куда хорошо по дворам шляться за посудою!

— Пелагея! Знакомый тебе это человек? — спросил Медузип, указывая на сучковатую трость в углу.

Пелагея, увидевшись с знакомым, пошла в кухню надеть капот, шелковый платок и потом с ворчанием отправилась к отцу Иоанникию; а Медузин сел за письменный стол и просидел с час в глубокой задумчивости; потом вдруг «обошелся посредством» руки: схватил бумагу и написал, — вы думаете, комментарий к «Энеиде» или к Евтропиевой краткой истории, — и ошибаетесь. Вот он что написал:

1. Российская грамматика и логика …… много употребл.
2. История и география …… употребляет довольно
3. Чистая математика …… плох
4. Французский язык …… виноградн. много
5. Немецкий язык …… пива очень много
6. Рисование и чистописание …… одну настойку
7. Греческий язык …… все употребляет

После этих антропологических отметок Иван Афанасьевич написал соответственную им программу:

Ведро сантуринского …… 16 руб. — коп.
1/2 ведра настойки …… 8 руб. — коп.
1/2 ведра пива …… 4 руб. — коп.
2 бутылки меду …… — руб. 50 коп.
Судацкого 10 бутылок …… 10 руб. — коп.
3 бутылки ямайского …… 4 руб. — коп.
Сладкой водки штоф …… 2 руб. 50 коп.
_____
…… Итого: 45 руб.

Медузин был доволен сметой: не то чтоб очень дорого, а выпить довольно; сверх того, он ассигновал значительные деньги на покупку визиги для пирогов, ветчины, паюсной икры, лимонов, селедок, курительного табаку и мятных пряников, — последнее уже не но необходимости, а из роскоши.

Гости собрались в седьмом часу. В девять с Кафернаумского шел уже проливной

дождь; в десять учитель географии, разговаривая с учителем французского языка о кончине его супруги, помер со смеху и не мог никак ионять, что, собственно, смешного было в кончине этой почтенной женщины, — но всего замечательнее то, что и француз, неутешный вдовец, глядя на него, расхохотался, несмотря на то что он употреблял одно виноградное. Медузин показывал сам пример гостям: он пил беспрестанно и все, что ни подавала Пелагея, — пунш и пиво, водку в сантуринское, даже успел хватить стакан меду, которого было только две бутылки; ободренные таким примером гости не отставали от хозяина; один Круциферский, приглашенный хозяином для почета, потому что он принадлежал к высшему ученому сословию в городе, — один Круциферский не брал участия в общем шуме и гаме: он сидел в углу и курил трубку. Зоркий взгляд хозяина добрался наконец до него.

— Дмитрий Яковлевич, вы-то что же пуншику-то с лимончиком?.. Ну, что, право, сидите голову повеся, сами не пьете, другим мешаете.

— Вы знаете, Иван Афанасьевич, что я никогда по пыо.

— И знать, любезнейший мой, не хочу такого вздору, пьешь не пьешь, а с друзьями выпить надобно; дружеская беседа, да… Пелагея, подай стакан пуншу да гораздо покрепче.

Последнее замечание, вероятно, хозяин основал на том, что Круциферский и послабже не хотел.

Принесла Пелагея стакан кизлярки, в которой лежал, должно быть, мертво пьяный кусок лимону и в которой бесследно пропали несколько чайных ложек кипятку. Круциферский взял стакан, чтоб отделаться от хозяина, в надежде, что найдет случай три четверти выплеснуть за растворенное окно. Это было не так легко, потому что Медузин, посадивши кого-то за себя поиграть в бостон, подсел к Круциферскому.

— Вот, Дмитрий Яковлевич, я тебе искренно скажу, ты меня обязал, истинно дружески обязал, а то как в твои лета, сидишь дома назаперти; конечно, у тебя есть там хозяюшка молодая, ну, да ведь надобно же и в свет-то иной заглянуть. Ну, дай же, Дмитрий Яковлевич, я тебя за это поцелую, — и, не дожидаясь разрешения и несмотря на то что от него пахло точно из растворенной двери питейного дома, вылитографировал довольно отчетливо толстые губы свои на щеке Круциферского. А вслед за тем, не говоря худого слова, обнял Дмитрия Яковлевича и Кафернаумский, с которого пот лился ручьями. Желая просушить лицо, без явной обиды собрату по просвещению юношества, Круциферский отошел в угол и вынул платок. Спиною к нему стоял неутешный вдовец и учитель французского языка с Густавом Ивановичем, учителем немецкого языка, который в сию минуту был налит пивом до конца ногтей и курил трубку с перышком. Ни тот, ни другой не заметили Круциферского и продолжали вполголоса разговор. Само собою разумеется, что Круциферскому вовсе не хотелось подслушать, что они говорят, но фамилия Бельтова, произнесенная довольно громко, рядом с его собственной, заставила его вздрогнуть и инстинктивно прислушаться.

— Это старый штук, — говорил француз, посгладивши как-то все русские буквы, — и если Адан не носил рок, то это оттого, что он бил одна мушина в Эден.

— Та, — отвечал Густав Иванович, — та! Этот Пельгтоф, это точна Тон-Шуан, — и через минуту громко расхохотался; минуту эту, по цемецкому обычаю, он провел в глубокомысленном обсуживании, что сказал французский учитель об Адаме; добравшись наконец но смысла, Густав Иванович громко расхохотался и, вынимая из чубука перышко, совершенно разгрызенное его германскими зубами, присовокупил с большим довольством: «Ich habe die Pointe, sehr gut!». Но наибольшее действие этот рассказ сделал

не на Густава Ивановича, а на человека, который почти не слыхал его, то есть на Круциферского. Что это значит — эти две фамилии, рядом поставленные? Да как же это, неужели страшная тайна, которую он едва подозревал, в которой он себе не смел признаться, сделалась площадною сплетней? Да точно ли они говорили это? Конечно, говорили, — и вот они стоят еще на том же. месте, и Густав Иванович продолжает хохотать, Круциферскому показалось, что у него, в груди что-то оборвалось и что грудь наполняется горячей кровью, и все она подступает выше и выше, и скоро хлынет ртом… Голова у него кружилась, перед глазами прыгали огоньки, он боялся встретиться с кем-нибудь взглядом, он боялся упасть на пол — и прислонился к степе… Вдруг чья-то тяжелая рука схватила его за рукав; он весь содрогнулся; что еще будет? — думал он.

— Нет, любезный Дмитрий Яковлевич, честные люди так не поступают, — говорил Иван Афанасьевич, держа одной рукой Круциферского за рукав, а другою стакан пуншу, — нет, дружище, припрятался к сторонке, да и думаешь, что прав. У меня такой закон: бери не бери, твоя воля, а взял, так пей.

Круциферский, долго всматриваясь и вслушиваясь, — вроде того, как Густав Иванович изучал замечание французского учителя, — наконец, смутно понял, в чем дело, взял стакан, выпил его разом и расхохотался.

— Вот люблю, можно чести приписать! Каков? А говорит — не пью, экой хитрец! Ну, Дмитрий Яковлевич, Митя, выпей еще стаканчик… Пелагея, — присовокупил Медузин, вытаскивая из стакана Круциферского собственным (обходительным) пальцем своим кусок лимона, — еще пуншу да покрепче… Выпьешь?

— Давайте.

— Браво, браво!..

И Медузии только потому не поцеловал Круциферского, что рот его был занят лимоном, который он съел с кожей и с косточками, прибавляя в виде объяснительной комментарии: «Кисленькое-то славно, когда фундамент выведен».

Пунш принесли, Круниферский выпил его, как стакан воды. Никто не заметил, что он был бледен, как воск, и что посинелые губы у него дрожали, может, потому, что гостям казалось, что весь земной шар дрожит.

Между тем как дело шло на пульку, неутомимая Пелагея принесла на маленький столик поднос с графином и стаканчиками на ножках, потом тарелку с селедками, пересыпанными луком. Селедки хотя и были нарублены поперек, но, впрочем, не лишены ни позвоночного столба, ни ребер, что им придавало особенную, очень приятную остроту. Игра кончилась мелким проигрышем и крупным ругательством между людьми, жившими вместе целый бостон. Медузин был в выигрыше, а следовательно, в самом лучшем расположении духа.

— Полноте, полноте! — кричал он. — Пойдемте-ка лучше да с божьим благословением хватимте кантафресного.

Иван Афанасьевич постоянно называл настойку кантафресным, почему — не знаю, но полагаю, по достаточным и верным латинским источникам.

Госта отправились к столу.

— Дмитрий Яковлевич! Уж, верно, ты не откажешься и от кантафресного?

— Давайте и кантафресного, — отвечал Круциферский и опрокинул в горло огромную рюмку пенника, испорченного разными травами, отвратительными на вкус и полезными, как думают легковерные люди, для желудка.

Восторг гостей был неописанный; но Пелагея принесла баснословной величины пирог с визигой… Я, впрочем, полагаю, что мы довольно ознакомились с характером

валтасаровского празднества, которым Медузин праздновал свое тезоименитство; тем более не считаю нужным описывать продолжение его, что могу уверить читателей в том, что праздник продолжался совершенно в том же направлений и на тех же основаниях.

На другой день Круциферский имел длинный разговор с Любовью Александровной; она поднялась в его глазах опять так высоко, так недосягаемо высоко; он был способен понять и оценить ее… но что-то отлетело между ними, и страшная мысль: «об этом говорят» — уничтожала его. Он, впрочем, насчет этого не сказал ей ни слова; ему было тяжело с ней говорить, и он торопился в гимназию; пришедши туда прежде окончания другой лекции, он стоял у окна в рекреационной кале. Давно ли он так спокойно смотрел из этого окна, давно ли, на верху человеческого счастия, он так торопился бежать домой? И вдруг все переменилось! он хотел бы бежать из дому… и между тем он был подавлен ее величием и силой, он понял, что она страдает не меньше его, но что она скрывает эти страдания из любви к нему. «Из любви ко мне! Но разве она любит меня, разве можно любить бревно, лежащее на дороге к счастью?.. Зачем я не умел скрыть, что все знакн если б я был осторожнее, она не столько бы страдала, а я все сделал бы, чтоб она была счастлива; но что же делать; бежать, бежать — куда?..»

Его остановил Анемподист Кафернаумский. Он, видимо, еще не оправился от вчерашнего раута; глаза у него были красны и окружены каким-то пухлым кругом, как бывает луна зимою в морозные дни, на щеках и носу проступали сизые пятна.

— Что, почтеннейший, — сказал Кафернаумский, отирая пот с лица, — трещит?

Круциферский промолчал.

— Я сам едва жив.

Видала ль ты обломки корабля?
Видала, но почто? Се жизнь теперь моя…

Каков-с Медузин-то? Старый пес, расходился как! Да вы, Дмитрий Яковлевич, поправлялись? То есть, клин клином-то…

— Как, поправлялся ли?

— А вот я вам покажу как; и видно, что еще новичок! Пойдемте-ка ко мне. Я ведь тут возле живу, —

Ради рома и арака
Посети домишко мой.

Круциферский отправился к Кафернаумскому. Зачем? Этого он сам не знал. Кафернаумский вместо, рома и арака предложил рюмку пеннику и огурцы, Круциферский выпил и к удивлению увидел, что в самом деле, у него на душе стало легче; такое открытие, разумеется, не могло быть более кстати, как в то время, когда безвыходное горе разъедало его.

* * *

Часов в десять с небольшим Семей Иванович Крупов явился в небольшую залу «Города Кересберг» и принялся прохаживаться взад и вперед, с лицом озабоченным и сердитым. Минут через пять дверь из комнаты Бельтова отворилась, и вышел Григорий, со щеткой в руке и с пальто на руке.

— Что, небось еще спит?

— Сейчас проснулись, — отвечал Григорий.

— Скажи ему, что я пришел и имею до пего дело.

— Семен Иванович! — закричал Бельтов. — Семен Иванович! Милости просим, — и показался в дверях.

— Имеете вы, — спросил он, — полчаса времени для меня?

— Хоть целый день! — отвечал Бельтов.

— Да не помешал ли я вам? Вы, кажется, по утрам занимаетесь политической экономией, что ли?

Старик нисколько не скрыл иронический тон вопроса.

— Вы, кажется, сегодня и рано встали с постели, да только левой ногой, — заметил Бельтов, до высочайшей степени кротко принимавший замечания старого ворчуна.

— Стало, я встал с той ноги, с которой хотел.

— Итак, — сказал Бельтов, указывая на дверь. Крупов молча вошел в нее.

— Владимир Петрович! — начал Крупов, и сколько он ни хотел казаться холодным и спокойным, не мог, — я пришел с вами поговорить не сбрызгу, а очень подумавши о том, что делаю. Больно мне вам сказать горькие истины, да ведь не легко и мне было, когда я их узнал. Я на старости лет остался в дураках; так ошибся в человеке, что мальчику в шестнадцать лет надобно было бы краснеть.

Бельтов смотрел на старика с удивлением.

— Коли я уж начал говорить, так буду, как македонский солдат, вещи называть своим именем, а там что будет, не мое дело; я стар, однако трусом меня никто не назовет, да и я, из трусости, не назову неблагородного поступка — благородным.

— Послушайте, Семен Иванович! Я уверен, что вы не трус, да еще более уверен в том, что и меня вы не считаете за труса, но мне бы очень было неприятно стать в необходимость доказывать это вам, которого я искренно уважаю; я вижу, вы раздражены, а потому, что бы ни было, сделаемте условие не употреблять грубых выражений; они имеют странное свойство надо мной: они меня заставляют забыть все хорошее в том, кто унижается до ругательств. Бранью вы ничего не объясните, а потому к делу, и извините за aviso.

— Хорошо-с; я буду, милостивый государь, вежлив, чрезвычайно вежлив. Позвольте мне иметь смелость, Владимир Петрович, вас спросить — знаете вы или нет, что вы разрушили счастье семьи, на которую я четыре года ходил радоваться, которая мне заменяла мою собственную семью; вы отравили ее, вы сделали разом четырех несчастных. Из сожаления к вашему одиночеству я ввел вас в эту семью; вас приняли, как родного, вас отогрели там, а вы чем отблагодарили? Извольте знать, муж не нынче-завтра повесится или утопится, не знаю, в воде или вине; она будет в чахотке, за это я вам отвечаю; ребенок останется сиротою на чужих руках, и, в довершение, весь город трубит о вашей победе. Позвольте же и мне вас поздравить!

Благородный старик дрожал от гнева, говоря последние слова.

— А может, вам это ничего, с высшей точки зрения, — прибавил он, погодя немного.

Бельтов встал с дивана и быстро ходил по комнате; потом он вдруг остановился перед стариком.

— Позвольте мне вас теперь спросить: кто вам дал право так дерзко и так грубо дотрогиваться до святейшей тайны моей жизни? Почему вы знаете, что я не вдвое несчастнее других? Но я забываю ваш тон; извольте, я буду говорить. Что вам от меня надобно знать? Люблю ли я эту женщину? Я люблю ее! Да, да! Тысячу раз повторяю вам: я люблю всеми силами души моей эту женщину! Я ее люблю, слышите?

— Так зачем же вы ее губите? Если б вы были человек с душою, вы остановились бы на первой ступени, вы не дали бы заметить своей любви! Зачем вы не оставили их дом? Зачем?

— Вы проще спросите: зачем я живу вообще? Действительно, не знаю! Может, для того, чтоб сгубить эту семью, чтоб погубить лучшую женщину, которую я встречал. Вам все это легко и спрашивать и осуждать. Видно, в вас сердце-то смолоду билось тихо, а то бы осталось хоть что-нибудь в воспоминании. Извольте, я буду отвечать на ваши вопросы. Да! Я чувствую теперь потребность не оправдываться, — я не признаю над собою суда, кроме меня самого, — а говорить; да сверх того, вам нечего больше мне сказать: я понял вас; вы будете только пробовать те же вещи облекать в более и более оскорбительную форму; это наконец раздражит нас обоих, а, право, мне не хотелось бы поставить вас на барьер, между прочим, потому, что вы нужны, необходимы для этой женщины.

— Говорите, говорите; я буду слушать.

— Я приехал сюда в одну из самых тяжелых эпох моей жизни. В последнее время я расстался с заграничными друзьями; здесь не было ни одного человека, близкого мне; я толкнулся к некоторым в Москве — ничего общего! Это укрепило меня еще более в намерении ехать в NN. Вы знаете, что здесь было и весело ли я жил. Вдруг я встречаю эту женщину… Вы ее любите, уважаете, но вы ее совсем не знаете, так точно, как не знаете меня. Вы дорого оценили ее семейное счастье, ее любовь к мужу, к ребенку — только; не сердитесь — есть минуты, в которые говорят не одни сладкие истины… Не думайте, чтобы внешняя близость или число лет распечатывали душу одного другому, — нисколько! Очень часто людей, живших лет двадцать вместе, в гроб кладут чужими, а иногда они и любят друг друга, да не знают, а братственное сочувствие в: один миг раскрывает в десять раз больше. К тому же, по вашей привычке морализировать, вы на нее смотрели докторально, сверху вниз, а я, изумленный необычайной силой ее, я склонялся перед ней. Удивительное существо! Как это сделалось в ней, что те результаты, на которые я пожертвовал полжизнию, до которых добился трудами и мучениями и которые так новы мне казались, что я ими дорожил, принимал их за нечто выработанное, — были для нее простыми, само собою понятными истинами: они ей казались обыкновении. Не знаю, я со многими людьми встречался, у каждого рано или поздно дойдешь до его горизонта, дойдешь до рва, чрез который он пересадить не может; в ней я не видел этого горизонта. Какие мгновения истинного блаженства я испытал в эти вечера, когда мы долго беседовали!.. Я отдохнул за весь холод, испытанный в моей жизни. Первый раз человек узнал, что такое любовь, что такое счастье, и зачем он не остановился? Это наконец становится смешно, столько благоразумия у меня нет. Да и потом это вовсе было не нужно. Когда я отдал отчет, когда я сам понял — было поздно.

— Да скажите, наконец, какая же у вас цель? Ну, что же дальше?

— Я не думал об этом и ничего не могу сказать вам.

— Вот вам перед глазами зато и лежат плоды необдуманности.

— Вы думаете, что я равнодушно смотрю на эти плоды, что я ждал, чтоб вы пришли мне рассказать? Прежде вас я понял, что мое счастье потускло, что эпоха, полная поэзии и упоенья, прошла, что эту женщину затерзают… потому что она удивительно высоко стоит. Дмитрий Яковлевич хороший человек, он ее безумно любит, но у него любовь — мания; он себя погубит этой любовью, что ж с этим делать?.. Хуже всего, что он и ее погубит.

— Как же, по-вашему, ему следовало бы хладнокровно смотреть на то, что его жена любит другого?

— Я этого не говорю. Вероятно, ему следовало то делать, что он сделал; каждая натура очень верна себе, особенно в критические минуты. А знаете, чего ему не следовало делать? Сочетать свою жизнь с женщиной такой силы, как она.

— По несчастью, это я ему говорил перед свадьбой, но согласитесь, что теперь поздно об этом толковать и что до вашего приезда она была счастлива.

— Семен Иванович, это бы не осталось так навсегда. Такого рода недоразумения рано или поздно всплывают; как это вы так непоследовательны?!

— Право, это дело мудреное! Ох, то-то недаром всегда говорил я, что семейная жизнь — вещь преопасная, да проповедовал, как Иоанн в пустыне; никто меня не слушал. Хоть бы вы из сострадания просто…

— Я, право, не знаю, чего вы от меня хотите? После ее болезни я стал замечать ее грусть и его немое безвыходное отчаяние. Я почти перестал ходить к ним, вы это знаете, а чего мне это стоило, знаю я; двадцать раз принимался я писать к ней — и, боясь ухудшить ее состояние, не писал; я бывал у них — и молчал; в чем же вы меня упрекаете, что вы хотите от меня, надеюсь, что не простое желание бросить в меня несколько оскорбительных выражений привело вас ко мне?

— Владимир Петрович, ну, докажите же, что вы сильный человек; я верю, что вам это трудно, ну, все же принесите жертву, большую жертву… А мы, может, спасем эту женщину; Владимир Петрович, уезжайте отсюда!..

И какая-то нежность в тоне заменила натянутую жесткость… голос у старика дрожал. Он любил Бельтова.

Бельтов открыл свой портфель, порылся в бумагах и подал ему начатое письмо.

— Прочтите, — сказал он.

Письмо было к матери; он извещал ее о своем твердом намерении опять ехать за границу и притом очень скоро.

— Вы видите, я еду. И вы думаете, что вы спасете ее этим, — спросил он грустно, качая головой, — добрейший Семен Иванович?

— Да что же делать? — спросил Крупов с каким-то отчаянием.

— Не знаю, — отвечал Бельтов. — Семен Иванович, я напишу к ней письмо и принесу его к вам, вы отдадите, честное слово?

— Отдам, — отвечал Крупов.

Бельтов проводил Семена Ивановича, печального и расстроенного, до дверей.

Потом он воротился и своему столику и бросился на диван в каком-то совершенном бессилии; видно было, что разговор с Круповым нанес ему страшный удар; видно было, что он не мог еще овладеть им, сообразить, осилить. Часа два лежал он с потухнувшей сигарой, потом взял лист почтовой бумаги и начал писать.

Написавши, он сложил письмо, оделся, взял его с собою и пошел к Крупову.

— Вот письмо, — сказал Бельтов. — Можете вы, Семен Иванович, доставить мне случай с ней видеться при вас на две минуты или нет?

— Да зачем?

— Что вам до этого, хуже от этого не будет. Если в вас когда-нибудь была малейшая привязанность ко мне, вы это сделаете.

— Когда вы едете?

— Завтра утром.

— Будьте в восемь часов в саду.

Бельтов пожал ему руку.

— А я видел сегодня его в самом жалком положении.

— Перестаньте; ни слова, Семен Иванович, умоляю вас.

Бледная, исхудавшая, с заплаканными глазами, шла несчастная Любовь Александровна под руку с Круповым; она была в лихорадке, выражение ее глаз было страшно. Она знала, куда она шла, и знала зачем. Они пришли к заветной лавочке и сели на нее; она плакала, в руках ее было письмо; Семен Иванович, не находивший даже нравоучительных замечаний, обтирал слезу за слезою.

Подошел Бельтов; все светлое в лице его исчезло, в каждой черте видно было нестерпимое страдание; он взял ее руку. Он был похож на мертвеца.

— Прощайте, — сказал он ей едва внятным голосом, — я опять скитаться; но наша встреча, но ваш образ сохранится во мне… он меня утешит в последнюю минуту жизни.

— Навсегда? — спросила она. Он молчал.

— Боже мой! — сказала она и умолкла. — Прощайте, Вольдемар, — прибавила она шепотом, и потом вдруг, как будто силы ее разом удесятерились, она встала и, сжимая руку его, сказала громко и ясно: — Вольдемар, помните, что вы любимы беспредельно… беспредельно любимы, Вольдемар!

Она встала, он не удерживал ее; в ней достало духу идти более твердым шагом, нежели как она пришла.

Он смотрел им вслед, провожал донельзя мельканий белого бурнуса между березками. Она не имела силы обернуться. Вольдемар остался. «Да неужели, — думал он, — я должен оставить ее, и навсегда!» Он положил голову на руку, закрыл глаза и с полчаса сидел уничтоженный, задавленный горем, как вдруг кто-то его назвал по имени; он поднял голову и едва узнал общее советничье лицо советника; Бельтов сухо поклонился ему.

— Вы, кажется, Владимир Петрович, приходите сюда отдаваться мечтаниям и размышлениям.

— Да, и поэтому люблю быть один.

— Это точно-с, доложу вам, что может быть приятнее для образованного человека, как одиночество, — заметил советник, садясь на лавку, — а впрочем, есть и компания иногда не хуже одиночества. Я сейчас встретил Крупова, Семена Ивановича, он такую себе подцепил дамочку.

Бельтов встал в ту же минуту, как советник сел, и хотел идти, но он его остановил последними словами. Насмешливый вид советника очень хорошо показывал, с какой целью он это говорил. Всего вероятнее, что он и в сад попал по тайному поручению какой-нибудь Марьи Степановны.

— Я знаю даму, с которой шел Крупов, — сказал Бельтов, задыхаясь от ярости..

— Да как, чай, вам не знать, ха, ха, ха! — заметил развязный советник. — Уж вы, молодые люди, знаете всех хорошеньких.

— Вы или сумасшедший, или дурак! В обоих случаях прощайте, — сказал Белътов и отправился по аллее.

— Как вы осмелились меня так назвать! — вскричал советник, покрасневши, как пион, и вскакивая с лавки.

Бельтов остановился.

— Что вы хотите от меня, — спросил он советника, — стреляться с вами? Извольте! Как ни гадко, я стану; если ж нет, вы меня извините, я имею скверную привычку отгонять тростью тех, которые мне мешают гулять.

— Как тростью? — спросил советник. — Да кто вы такой, что смеете тростью угрожать?

Во всяком другом случае Бельтов расхохотался бы от всего сердца над милым

советником, но в эту минуту, когда он и без него был так сильно раздражен и вряд ли хорошо помнил, что делает, он показал советнику как. Советник удивился; Бельтов ушел.

На другой день утром, пока Григорий укладывал и хлопотал, Бельтов ходил по комнате; у него в уме и в груди была какая-то пустота, точно полжизни, полсуществования кануло в воду и нет ее, так что-то страшно и больно, какой-то трепет, — и вдруг навернутся слезы. Десять раз Григорий обращался к нему с вопросом, и он отвечал «все равно», и действительно в эту минуту ему было не только все равно, какое пальто надеть на дорогу, а даже по какой дороге ехать, в Париж или Тобольск. Вошел Семен Иванович, совсем не так, как вчера: на глазах его видны были следы слез, он как-то вошел тихо, чистил шляпу рукавом, постоял у окна, заметил Григорью, что вага у дормеза не хорошо привязана, и вообще был не в своей тарелке.

— Довольны мною, Семен Иванович? — сказал со смехом и со слезами Бельтов.

— Я оскорбил вас вчера; ну, что делать, простите меня… если вы так уедете…

И у старика голос замер.

— Полноте, полноте, Семен Иванович, что вы это?

И Бельтов протянул ему обе руки.

— Вот еще что: примите от меня в знак памяти, я истинно вас любил и хочу вам… — и он ему подал довольно большой сафьянный портфель, — хочу вам отдать вещь дорогую, очень дорогую мне.

Бельтов развернул портфель, взглянул на старика и бросился к нему на шею; старик рыдал и приговаривал: «Самому смешно, право, из ума выживаю. Экая глупость, под старость плаксой стал».

Бельтов бросился на стул и держал перед собою портфель… Это был акварельный портрет Любови Александровны.

Крупов стоял перед ним и, чтоб окончательно уверить Бельтова, что он вовсе нечего не чувствует, делал следующие комментарии, отирая украдкой слезы:

— Года два тому назад здесь проезжал англичанин-живописец, хороший живописец; он большие масляные портреты делал; вот губернаторшин портрет, что висит в кабинете, он писал; я уговорил Любовь Александровну посидеть, — всего три сеанса… думала ли она?

Бельтов не слушал его, а потому беда была не велика, когда речь Крупова перервал хозяин трактира, который, запыхавшись, возвестил приезд господина полицеймейстера.

— Что ему надобно? — спросил Бельтов.

— Имеет до вашей милости дело, — отвечал трактирщик.

— Скажи, что я дома.

Полицеймейстер вошел, страшно гремя саблею; вдали сквозь растворенную дверь виделся тощий комиссар и половой, державший в страхе в руках шинель полицеймейстера.

Бельтов встал и всею фигурою своей выразил вопрос, так что слов не нужно было. Вопрос был, естественно, тот: *за коим диаволом*?

— Мне очень жаль, Владимир Петрович, что я должен остановить вас на несколько минут; вы, кажется, намерены отбыть из нашего города?

— Да.

— Генерал вас просит побывать к нему. Фирс Петрович Елканевич подал на вас, партикулярным письмом, жалобу его превосходительству насчет оскорбления его чести. Мне очень совестно; согласитесь сами — долг службы; сами изволите знать, мое дело — неумытное исполнение.

— Это чрезвычайно не ко времени. Позвольте вас спросить, это надолго может меня

остановить?

— Это будет зависеть от вас; господин Елканевич человек благородный: он, наверное, дела не затянет вдаль, если вы, изволите знать, объяснитесь.

— Да как тут объясняться?

— Ох, Владимир Петрович, что мне это с тобою делать? Ничего, право, не понимаешь, — заметил Крупов. — Ну, хотите, я с господином полицеймейстером буду посредником и кончим в четверть часа?

— Очень бы обязали, истинно обязали бы.

— Помилуйте, — заметил полицеймейстер, — это священная обязанность наша, и самая приятная обязанность, когда можно эдак мирным образом и к общему удовольствию.

Так и случилось.

* * *

…Через две недели по этой дороге, по которой некогда мчалась мимо мельницы коляска, запряженная четверкой лихих лошадей, и которая шла от Белого Поля на большую дорогу, подымался дорожный дормез; Григорий сидел на козлах и закуривал трубку, ямщик убеждал лошадей идти дружнее и, чтоб ближе подделаться к их понятиям, произносил одни гласные: о… о… о… у… у… у… а… а… а… и т. д. А по сю сторону реки стояла старушка, в белом чепце и белом капоте; опираясь на руку горничной, она махала платком, тяжелым и мокрым от слез, человеку, высунувшемуся из дормеза, и он махал платком, — дорога шла немного вправо; когда карета заворотила туда, видна была только задняя сторона, но и ее скоро закрыло облаком пыли, и пыль эта рассеялась, и, кроме дороги, ничего не было видно, а старушка все еще стояла, поднимаясь на цыпочки и стараясь что-то разглядеть.

Скучно и пусто сделалось старушке в Белом Поле; бывало, все же в неделю раз-другой приедет Вольдемар, она так привыкла слышать издали, еще с горы, бубенчики и выходить к нему навстречу на тот балкон, на котором она некогда ждала его, загорелого отрока с светлым лицом. Ее что-то звало в NN: там жила женщина, любимая ее сыном, несчастная жертва любви к нему. И в самом деле, старушка переехала туда к зиме. Она застала Любовь Александровну потухающею, ненадежною; Семен Иванович, сделавшийся вдвое угрюмее, качал головою, когда его спрашивали об ней; Дмитрий Яковлевич, задавленный горем, молился богу и пил. Софья Алексеевна просила позволения ходить за больной и дни целые проводила у ее кровати, и что-то высоко поэтическое было в этой группе умирающей красоты с прекрасной старостью, в этой увядающей женщине со впавшими щеками, с огромными блестящими глазами, с волосами, небрежно падающими на плечи, — когда она, опирая свою голову на исхудалую руку, с полуотвёрстым ртом и со слезою на глазах внимала бесконечным рассказам старушки матери об ее сыне — об их Вольдемаре, который теперь так далеко от них…

1841—1846